

Петр Катериничев

Странник

ЦЕНТРОЛИТРУП

Петр Владимирович Катериничев

Странник

Текст предоставлен автором

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=119229

Катериничев П. Странник: Роман: Центрполиграф; М.; 2005

ISBN 5-9524-1413-3

Аннотация

Журналист Олег Данилов невольно втянут в борьбу за богатство, влияние, власть. А еще – его прошлое, полное огня, далекой войны, крушения иллюзий, вторгается в настоящее, подтверждая истину, что дар любви беззащитен... Но – только любовь, отвага и благородство придают жизни смысл, которого в ней порой недостает.

Это роман о любви. О двух одиноких людях, пытающихся ее обрести, и об остальных – жаждущих власти, богатства, подчинения и потому – подчиненных и подвластных им.

Содержание

Книга первая	5
Глава 1	5
Глава 2	17
Глава 3	29
Глава 4	39
Глава 5	47
Глава 6	55
Глава 7	61
Глава 8	73
Глава 9	84
Глава 10	93
Глава 11	101
Глава 12	112
Глава 13	121
Глава 14	131
Глава 15	142
Глава 16	151
Глава 17	160
Глава 18	164
Глава 19	173
Глава 20	183
Глава 21	189
Глава 22	199

Глава 23	207
Глава 24	218
Конец ознакомительного фрагмента.	227

Петр Катериничев

Странник (Любовь и доблесть)

Роман является художественным произведением, а потому не стоит отождествлять точку зрения того или иного персонажа с позицией автора, как не стоит искать в романе прототипы тех или иных персон или аналогии бывших, теперешних или будущих событий. Люди, полагаящие себя вершителями судеб, порой столь ничтожны, что только кисть художника способна превратить их в героев, а действительность порой столь скудна, что только воображение может обратить ее в живую реальность.
Автор

Книга первая

ПРИНЦЕССА

Глава 1

Пробуждение было подобно рождению. Свет проникал сквозь сомкнутые веки, обрывки полусна еще носились в

ближней памяти ключьями ветреного и прохладного тумана, а Олег Данилов понял, что уже не спит.

Да еще и кошка. Сквозь сон он слышал настойчивое мяуканье, но подниматься не желал. Тот участок сознания, что отвечал за «рацио», решительно противился окончательному пробуждению, подтверждая, что никакой кошки, ни черной, ни белой, ни серо-бурой в загогулину, в его квартирке сроду не водилось, а значит, и мяуканье было пустым фантомом. И вставать в угоду мнимой игре неопохмеленного воображения не было ни необходимости, ни резона. Особенно после вчерашнего, мутного и далекого теперь, как унылое средневековье между столетними войнами, и томительного, словно голос преподавателя катехизиса в какой-нибудь добропорядочной бурсе ушедшего века.

Но мяуканье было проникновенным. Неведомый зверек старался вовсю. Кое-как Олег продрал глаза и увидел барышню семейства кошачьих, сидящую на подоконнике и выводящую приятным дискантом:

– Мя-а-а-у!

У кошки – четыре ноги,
Позади у нее длинный хвост,
Но трогать ее не моги -
За ее малый рост, малый рост! ¹

¹ Песня из кинофильма «Республика ШКИД». (Здесь и далее примеч. автора.)

– завертелась в сонном мозгу мелодия. Она крутилась и крутилась в такт требовательному мяуканью и не давала никакой возможности от нее отвязаться.

* * *

Олег опустил ноги на коврик, привстал, постаравшись из суеверия ступить сначала правой, неловко подвернул лодыжку и чуть не упал. Кошка метнулась в угол, замерла на мгновение в искреннем испуге, заглянула ему в глаза желтым рысьим взглядом и мявкнула, на этот раз коротко и кротко. Кошка была красива: черная, с белой грудкой и белыми носочками на лапах. Происхождения самого аристократического. И запрыгнула она в его зарешеченную, но открытую всем ветрам хибару на первом этаже, надо полагать, из чистого любопытства: глаза у кошки были доверчивые и детские.

– Есть хочешь? – спросил Олег как гостеприимный хозяин и выжидательно на нее уставился.

Чего он ждал? Что кошка скажет «хочу» или хотя бы кивнет? Не дождался, помотал головой, ухмыляясь самому себе, своей утренней неловкости и мысли, посетившей не тяготеющую к философичным обобщениям голову: «Как ее зовут?»

Олегу показалось невежливым называть ее просто «кошка».

– Как тебя зовут, барышня? – спросил он. М-да. Язык сно-

ва сработал быстрее рассудка, а впрочем... кошка мяукнула.

В некотором смущении Олег потер переносицу, уточнил:

– Муська?

Кошка мяукнула длинно и оскорбленно.

– Извини. Катя?

Кошка умиротворенно сощурилась и потянулась на передних лапах. Подошла к Данилову, потерлась о щиколотку, пропела совсем тихонечко, умиротворенно:

– Мя-а-а-у.

– Ну вот и прояснили. Екатерина, значит. Кэт.

Данилов проснулся окончательно. Встал, прошлепал босиком на кухню, распахнул допотопный «Саратов», вынул пакет, отодрал зубами уголок, пометался глазами в поисках чистого блюдца, не нашел, выплеснул из пиалы в раковину остатки заварки, кое-как сполоснул, налил молоко, опустил на пол, предложил:

– Кать, ты пока беленьким разомнись?

Кошка опустила мордочку в пиалу, и ее алый язычок азартно замелькал.

– Не торопись, горло простудишь, – назидательно посоветовал Олег. Катка промолчала.

Нет, с горлом он переборщил. Холодильник, выпущенный до эпохи исторического материализма, морозил на честном слове и приводил помещенные в его нутро напитки в состояние приятной кустарниковой прохлады. Ну а закусок там не было.

Олег забрался под душ и стоял, чувствуя, как улечувиваются остатки сна и похмельной мути. Пока не замерз. Выскочил, промокнулся полотенцем, мельком взглянул на собственное отражение в зеркале. Бриться он не любил и не собирался, благо небритость уже лет пять считается бородой. Вот только ссадина над левым глазом. И кровоподтек. Ему повезло: удар рассек кожу и дурная кровь покинула дурную голову. Это радовало. Иначе под глазом и вокруг него красовался бы фиолетово-черный бланш самого содержательного размера. И опадал бы, желтея, с месяц. А так – вид боевой и бывалый; ну а легкая припухлость через часок пройдет. Особенно если помочь голове встретиться с телом путем «принятия на грудь». Естественно, в гомеопатической дозе и исключительно с лечебной целью.

Олег осторожно потрогал кровоподтек, вздохнул, отметив, что костяшкам пальцев тоже досталось... Впрочем, вспоминать об этом сейчас было ни к чему.

Если хранить в памяти каждую собственную глупость, то... Все, мысль ушла.

Данилов завернулся в махровый халат и вышел в комнату.

Взгляд ничто не радовало. Его квартира представляла собой нечто среднее между сараем и ангаром. Не по размерам, а по царящему в ней бедламу. Книги, газеты, чашки с остатками кофе и чая, пустые пивные банки, перевернутые пепельницы, листы бумаги с обрывками недописанных фраз – это был обычный антураж. К этому следовало добавить раз-

брошенные по трем убогим комнатухам в совершеннейшем беспорядке свитера, джинсы, ботинки, кеды, мятые галстуки...

Последнее было особенно удивительным: галстуки Данилов никогда не носил и чувствовал себя в этом аксессуаре как лев в ошейнике. А костюма у него не было вовсе. Сию униформу деловых и чиновных Олег искренне полагал чем-то из разряда скафандров: как любая униформа, костюм броней сковывал эмоции и защищал «астронавта» на нетоптанных тропах отечественных политики и бизнеса: ничего личного. Мысль о том, что профессии бизнесмена и киллера в чем-то схожи, была не новой, но сейчас забродила в похмельной голове как откровение. Ну да: только киллеры убивают сразу, а «работодатели» высасывают соки у своей «ско-тинки» по капле, пока в паутине не останется никому не нужный и ни на что не годный иссохший остов. «Ничего личного»? Как бы не так. Любовь к деньгам у многих индивидов была очень личным чувством; что удивляло Данилова в наших богатых, так это причудливое сочетание алчности и мелкотравчатой плюшкинской скаредности. Это было противно.

Если уж Данилову предстояла встреча, которую принято считать деловой, он просто менял свитер на пиджак, надетый на футболку, ноги запаковывал в туфли вместо привычных кроссовок, и на этом уступки принятым в тех кругах правилам считал исчерпанными. Сегодня встреч не предвиделось.

Ни деловых, ни личных.

Никаких. С сегодняшнего дня он был безработным. Маргиналом. Люмпеном. Впрочем, не в первый раз.

– Мя-а-а-у, – подала голос кошка, объявившись из кухни. Присела, обернулась хвостом и мечтательно огляделась. Кошке у Олега нравилось.

– Ну что, оттянулась на молочке, аристократка? Данилов прошел на кухню, кошка двинулась следом, потерлась о ногу.

– Не подлизывайся, все равно покормлю. – Данилов распахнул дверцу холодильника, вздохнул, закончил:

– Если найду чем.

Колбасы остался ровно кусочек. Правда, это была настоящая домашняя колбаска, приконченная, в аппетитной шкурке. Олег с треском разломил кусок на два равных поменьше и кинул один кошке. Та выгнулась, поиграла, упруго присела на четырех лапах, словно затаившись перед броском, накрыла «добычу», выпустив коготки, и с хрустом впилась зубами.

– Странные мы звери, хищники, а, Кать? Просто так сожрать мало, хорошо бы еще и натешиться.

Кошка подняла голову, глянула на Олега взглядом пантеры и вернулась к прерванному занятию.

– Да я не в обиду, просто настроение такое, – словно оправдываясь перед зверьком, произнес Данилов, выудил из холодильника плоскую фляжку с джином, плеснул в стакан на треть, долил за неимением тоника лимонадом, приподнял емкость. – Ну, доброй охоты?

Кошка хрумкала колбаску, припав на лапы и щурясь от удовольствия. Олег выпил полстакана джина, морщась, как лекарство. Даже привкус можжевельной ягоды показался каким-то валериановым. Подхватил губами сигарету из пачки, чиркнул спичкой, прошел в комнату, упал в кресло. Закрыв глаза. Джин подошел сразу, сделав настроение летящим и мимолетным, будто сорванные шапочки одуванчиков, а его собственное пребывание в этом мире – необязательным и мнимым. Так и бывает.

Сначала ты яркий и лучистый, как солнышко, такой, что от тебя и взгляда не оторвать, и кажется тебе, что так будет всегда, а зазевался – вот уже и жизнь прошла, и остатки твоих надежд несутся шальным ветром неведомо куда.

Олег вздохнул: мысли покатались совсем не по тому кругу... А где он, тот круг? Наверное, нужна и женщина, и семья, и кошка с собакой... Но не складывается.

Рука пошарила в ворохе бумаг и книг на полу рядом с креслом и извлекла средних размеров фолиант. «Психология бессознательного» Карла Густава Юнга. Как у Экклезиаста? «От многие знания многие печали, и умножая познания, умножаем скорбь». А что делать? Человек создан хищником любопытным, вот он и пытается познать себя вместе с миром. Олег вздохнул: вряд ли уважаемый Карл Густавович объяснит все его порывы и промахи за вчерашний день и за прожитую жизнь, но надеяться можно? Гадают же люди на книжках... Итак? Что день грядущий нам готовит? Дани-

лов открыл наугад, прочел: "Исходным материалом для нижеследующего разбора мне послужили те самые случаи, в которых было реализовано то, что в предыдущей главе представлено, как ближайшая цель, а именно преодоление анимы как автономного комплекса и ее метаморфоза в функцию отношения сознания к бессознательному. По достижении этой цели удастся вызволить "Я" из всей его замешанности в коллективность и коллективное бессознательное".

Хорошо сказано! Ни прибавить, ни убавить! «Преодоление анимы как автономного комплекса и ее метаморфоза в функцию отношения сознания к бессознательному» – вот что ему сейчас нужно! Ибо без преодоления анимы он, Олег Данилов, живет как сирота казанская! Если бы еще знать, что такое «анима», и каким образом она метаморфозируется... А впрочем, голова – предмет темный, никакой наукой не проясненный. Но отдельными учеными мужами разумеемый. Вроде Карла Густава Юнга, ныне покойного. Олег опустил книгу обратно, в пыль и пепел малогабаритной квартирки. Как выражались латиняне: «Sic transit gloria mundi».

Что в переводе с иноземного звучит примерно так: «Прошла любовь, повяли помидоры». Пусть смысл частично и утерян, зато образность налицо.

А разобраться в собственных душевных метаниях все же хотелось. И провести метаморфозу. Сегодня. Немедленно. Нужен просто толчок. Мысль. Идея. И все сложные вещи исчезнут, упростятся, как в некоем уравнении, до того главно-

го, что и составляет нашу жизнь. До «любви» и «смерти». Ну а поскольку, пока ты жив, смерть присутствует только как возможность небытия, а не как данность, то в уравнении, называемом жизнью, останется лишь одно неизвестное, именуемое любовью. И то, что может любовь защитить. Доблесть.

А если нет любви, что остается? Стены. Унылые стены обиталища, а не жилища, больше похожего на ангар или сарай и оттого не называемого домом...

Олег дотянулся до кассетника, нажал клавишу, закрыл глаза, ощущая, как несбывшееся дальнее заполняет его, словно зазвучавшая музыка...

Рыжая моя, веснушчатая юность,
Девочка распутная, курчавое дитя -
Легкого вина светилась гаснущая лунность
И сознание путалось в мерцающих сетях,
Плакала недолгая любовь над расставаньем -
В полночи молитвы да гитарный перезвон -
Нам дарила осень спелых лоз очарованье,
Как цветок срывая с губ ночной любви стон.
Разговоры странные, тревожные знаменья
Рассыпались звездным переменчивым дождем,
И продрогший ветер отзывался волчьим пеньем -
Стужею и скукой покорен и побежден.
Помнишь, как усталая по полночи вернулась,
Помнишь, как смеялась ты, с тоской дневной шутя...
Рыжая моя, веснушчатая юность,

Олег вздохнул. С расслабухой нужно заканчивать. Еще немного умствований и самоистязательной рефлексии, и он с легким сердцем выудит из шкапчика заныканную загодя литровую бутылку спирта, разбавит по вкусу и – «вези меня, извозчик, по гулкой мостовой...».

Данилов опустил руку, поднял с пола глянцевого журнал, пролистал несколько страниц. Юмор? Очень хорошо. «Все о раздолбях».

«Дятел оборудован клювом. Клюв у дятла казенный. Он долбит. Если дятел не долбит, то он спит либо умер. Не долбить дятел не может. Когда дятел долбит, то в лесу раздаётся. Если громко, то, значит, дятел хороший. Если негромко – плохой, негодный дятел»³. Ну вот. Куда ближе к жизни, чем хваленый Юнг. «Не долбить дятел не может». В этом суть, смысл и квинтэссенция. Слегка отдающая паранойей. Впрочем, в случае жизненного успеха паранойю нарекают целеустремленностью.

Кошка неслышно подошла на мягких лапах, запрыгнула на колени, Олег почесал ее за ухом, кошка довольно прищурилась и заурчала. Покой и умиротворение. Вот только разбитая бровь саднит. Причина одна: глупость. Как ее ни называй – чувством собственного достоинства, гордостью, же-

² Песня Петра Катериничева «Рыжая».

³ Из журнала «ТВ-Парк».

ланием жить значимо и осмысленно... Результатом тех или иных усилий является итог. И каков итог на сегодняшний день? Он, Олег Данилов, уволен с «волчьим билетом» и без всяких перспектив. Что еще? Разбитая бровь. Похожая на ангар неприбранная квартира.

Похмелье. Тоска. Одиночество.

Глава 2

«У той горы, где синяя прохлада, у той горы, где моря перезвон...» Мелодия крутилась в голове сама собой и была из дальнего-дальнего детства. Еще бы помнил сильные руки отца, край синего неба в окне, лимонад на прикроватном столике... Ну да, тогда он умудрился простудиться в самую жару, и с удовольствием болел с замотанным скипидарной повязкой горлом, слышал, как на кухне в духовке доходят пирожки, и что-то особенное будет на ужин, и даже шоколадка... Наверное, не он один детские недомогания вспоминал теперь как праздник. И еще – тогда все были живы. И отец, и мама. А сам он был полон утреннего света и радости.

На улицу Олег вышел без определенной цели, как и положено личности без определенных занятий. Просто хотелось ощутить жизнь. Сидеть в квартирке и тупо смотреть в стену, Размышляя о бренном и вечном, занятие, конечно, полезное, но муторное. Все портило только одно: идти было некуда. И не к кому. Плохонький результат после прожитых тридцати с изрядным хвостиком годков. Хотя, слава богу, не в Швейцарии живем. В родных палестинах есть по меньшей мере два места, где ты никогда не лишний. Храм и кабак. Туда идут за надеждой. Но к храму людей чаще ведут слезы и горе. Не стоило отвлекать Всевышнего по пустякам. Данилов свернул в кабак.

«Ты шла ко мне по гулкому причалу, несла в ладонях запахи тепла...» Это был даже не кабаk, а питейное бистро во дворе магазина. По утренним часам – отстойник. С полдюжины страждущих уже опрокинули по стаканчику и горячо обсуждали вчерашний футбол. Оставалось присоединиться. И если и не постичь смысл сущего, то хотя бы перестать беспокоиться о нем.

Олег взял пива, вылил в высокий бокал, подождал, пока осядет пенная шапка.

Пива не хотелось. Но назвался груздем...

– Не помешаю? – У столика остановился дядька лет семидесяти с лишним. Но ни стариком, ни дедом назвать его язык не поворачивался: кирпичного цвета лицо лучилось жизнерадостными морщинками, да и глаза были яркими. А голос, тот вообще поражал густотой и силой. – Позвольте?

Олег заметил черную палку, на которую опирался незнакомец, быстро отодвинул стул:

– Присаживайтесь.

– Спасибо. – Пожилой уселся, нога так и осталось прямой. – Только не принимай меня за инвалида, сынок: на протезе я ковыляю дольше, чем ты на своих двоих. Просто не люблю пить пиво в одиночестве, а кроме тебя, здесь, пожалуй, и словом перемолвиться не с кем.

– Разве?

– Ты об этих? Кладбища мозгов. Зачем мне такая компания?

Олег пожал плечами:

– Я тоже не весельчак.

Пожилой окинул его ясным взглядом, сказал:

– У тебя, мил человек, душевная несвязуха. Пройдет. Порой, чтобы на верную дорожку ступить да за верное дело зацепиться, и перестоять не вредно, перетоптаться. Вот ты и топчешься. Это совсем не то же, что плюнуть в лицо жизни и доживать век растительно и квело. Так оно, конечно, спокойнее, но уж очень противно.

Пожилой утопил в пиве усы и в три глотка выпил полбокала. Крякнул, отер пену привычным жестом, кивнул:

– Меня Иваном Алексеевичем звать.

– А я – Олег.

– Так что не томись, Олег. Перемелется все – мука будет. Вот из нее-то и можно хлебушко печь. Только позаботиться нелишне, чтобы очаг был.

– Лучше камин.

– Очаг. Дом. Место, где тебе не страшен мир, каким бы уродливым ликом он к тебе ни оборачивался. – Пожилой вздохнул. – А к дому войну и близко подпускать нельзя. А у нас... – Иван Алексеевич отхлебнул еще пива. – И не война вроде еще, но уже давно не мир. Одни людишки по жизни волками серыми рыщут, другие – стволами осиновыми стыннут, да будто в сыром лесу... На волю дровосека.

Ивана Алексеевича повело быстро.

Олег только пожал плечами:

– А может, всегда так и было?

– Так, да не так. Просто тот огородик, на котором «зелье» зацветает, лучше кровушкой удобрять: вот тогда баксы «лимонами» и восходят, как лопушье! И что там жизнь каких-то солдат? – Иван Алексеевич призадумался, сказал неожиданно:

– Вот я клешню нижнюю еще во Вьетнаме потерял, бог весть в каком году! И, думаешь, жалко? Попервоначально оно конечно. А теперь... Но и знаю я, что не за товарища Хо Ши Мина на реке Бенхай я тогда загибался и не за товарища Брежнева подавно! Просто раньше бойцы наши по миру были рассыпаны, и бились неведомо где, и погибали безымянно, а потому в Союзе тишь была да гладь, и война к нашим пределам даже приближаться не смела! – Иван Алексеевич вздохнул, доцедил пиво до доньшка. – Это я, Олежек, не жалею. Просто злость порой берет: сколько ж можно на людях верхом ездить, а? А потом поразмыслию себе, на божий свет полюбуюсь, так на душе и мило, радостно. Живы. И бог даст – еще поживем. И – победим.

– Кого?

– Да самих себя, кого еще побеждать? Свою лень, тоску, разочарование жизненное, одиночество, неустройство. Возьми вот людей: летом жалуются на жару, зимой – на стужу, осенью – на холод, весной – на слякоть... Дождутся они своего счастья? Чтой-то сомнительно! А посмотри, как наши утренние компаньоны спиртное потребляют? Словно по-

винность отбивают жестокою!

– Болеют, – кинул Олег.

– Именно! А почему так? Просто когда-то, изначально, не вкуса, не радости в спиртном искали, а забытья от жизни! Вот и забылись так, что и просыпаться больше ни к чему! Смысла жизненного не понимают!

– А вы знаете?

– А то! И не нужно иронизировать, молодой человек! Ты водочку уважаешь?

– Не особенно.

– И я не особенно. А вот представь: сливаешь прозрачную, тройной очистки, «Столичную» в графинчик, да – в погребок его, а то – в морозильник, да не до льда охлаждаешь, до холода! И вот графинчик тот уже на столе, на крахмальной скатерке, и слезою пошел, а к нему – грибки белые в маринаде, лучок, бутерброды: селедочка на бородинском хлебце, чуть-чуть поджаренном, чтобы дух был! И – снимаешь притертую пробочку, наплескиваешь в лафитник, да не враз водочку ту в рот бросай, отдышаться ей дай, чтоб аромат зерновой поплыл... Вот тогда и пей: в три глотка, да не переводя духу – грибочком, а там – селедочкой или икоркой! Вот тут и есть феерия: во рту послевкусие зернового спирта да с маринованного белого, а водочка уже греет, и первый, легчайший хмель пошел по жилушкам и касается души мягкой радостью. И все заботы от тебя отвалились, отстали, а ты – папироску закури, отдохни, на мир оглядись: кругом красота

неодолимая. Вот это и есть та самая жизнь, какая тебе черной прогалиной горелой виделась!

А дальше: то ли в компании за жизнь посудачить, то ли борща отведать, а то – простой картошечки, да чтобы паром исходила, да желтого маслица сверху, пусть тает, да огурчика ядреного бочкового, да телятинки с хренком, если Бог послал... Важно, милый, не что ты пьешь-ешь, а как ты жизни этой радуешься: с душой к ней – и она к тебе с лаской и сочувствием, ну а коли смотришь на мир хорьком из норы, дескать, недодали тебе, болезному, ни коньяку, ни денег, ни баб – так жизнь тебе тем же и ответит: ты на нее зверьком зубатым глядишь, так и она для тебя нетопырем ночным обернется. – Иван Алексеевич вздохнул, закончил:

– Вот и весь смысл.

– А любовь?

– Если есть она в душе твоей, то и благо. Да только многие гонят любовь ту... Чтобы любить – от себя отрешиться нужно, другим человеком жить. Часто не любви людям нужно, а потачки: тщеславию своему, гордыне. И одиночества страшно, и в жизни хочется как-то посподручней пристроиться, да и природа своего требует. У меня ведь тоже требует, не дивись, что старый, а только... Да и что сказать: хозяйюшка моя, Наталья свет Юрьевна, в силах еще своих женщина, на двадцать годков моложе... И коли б я сомневался и о себе, а не о ней думал, то и гнил бы старым пеньком. А так – снова молодой! Так что – смысл простой: или ты жизнь скрутить

пытаешься да под себя заломать, или – радуешься ей, и она тебе радуется! – Иван Алексеевич достал оловянный портсигар, извлек длинную папиросу. – Табачок сам рашу, на даче, да английским капитанским сдабриваю, для духовитости. И папироски не ленюсь набивать. Машинка у меня своя, еще с пятьдесят третьего. А то те тряпки курить фабричные – ни сил никаких, ни здоровья, ни удовольствия. – Он чиркнул спичкой, окутался ароматным дымом. – Чуешь, каков табачок?

Олег кивнул.

– Угостишься?

– В другой раз.

– Хозяин барин. – Вздохнул. – Не, мрачен ты, паря, и не отговорить тебя.

Знать, зима пока в душе твоей властвует, а от холодов никак не убежать, пока весна сама снега не растопит да не согреет душу ту. Ты жди и крепись: придет весна. Будет. Это я верно знаю. – Иван Алексеевич вздохнул, в глазах его черной полыней метнулось что-то давнее, полузабытое. – Пойду я, пожалуй. Спасибо за компанию и за беседу.

– Да я все больше молчал, – улыбнулся Данилов.

– Языками молоть все горазды, а слушать – искусство редкое, не каждый может. Ты умеешь, да в своем ты. Умом слова слышишь, а до души не доходят.

Будто Кай из Андерсеновой сказки. Не шурься, детство свое я под Мурманском провел, так уж вышло, и всех кни-

жек у меня только Андерсен и был. Вот и помню с той поры чуть не назубок. А от тех краев до Лапландии рукой подать... – Иван Алексеевич снова замолчал, и снова глаза, пусть на мгновение, а затянулись темною поволокой. – Ладушки, Олежек, пора мне: со смены я, сторожу помалеху, поспать нужно. И прости, если за разговором глупость какую сморозил. Бывай здоров. – Иван Алексеевич протянул широкую лапищу. – Глядишь, где и свидимся.

Олег пожал крепкую ладонь, Иван Алексеевич ловко встал и, припадая на палку, пошел к выходу.

Данилов вернулся к пиву. Пена опала, напиток горчил: И идти было по-прежнему некуда. Возвращаться в квартиру, где не бывает гостей... Ну что ж... Остается ждать весны. «И весна, безусловно, наступит, а как же иначе...» А вообще – странно. Еще и лето не вошло в пору, а он уже начал тосковать по вес-ч не. Наверное, Алексеич прав: чтобы зима оставила душу, нужно терпение и время.

Позади раздалась ругань, следом звук грузно упавшего тела.

– Ты что, старый пень? Оттопырился поутряни – не пройди! Костылем он махать будет!

Двое парней застопорились на входе. Один был пригож, спортивен, насмешливые голубые глаза блестели на загорелом лице двумя льдинками; второй габаритами походил на бульдозер, чудом запакованный в джинсы и затянутый в майку. Кажется, он тоже решил скроить презрительную улыбку,

но вышла лишь глумливая ухмылка.

Иван Алексеевич в неудобной позе сидел на ступеньках, закрывая руками лицо.

– Будет сироту из себя строить, тебя даже не били, так, съездили! – Здоровый поднялся на ступеньку и пнул пытавшегося подняться старика.

– Вы чего, оборзели?! – попытался вступиться двигавшийся на выход мужичок.

Спортивный скривился в усмешке, крутнулся на месте, впечатал подошву кроссовки прямо в грудь мужичку, тот махом опрокинулся навзничь, как сбитая кегля, и замер.

– Убогих развелось, а, Костик? – В голосе спортсмена не было ни злобы, ни азарта: просто ленивое превосходство. Да и было все для него и не происшествие вовсе – так, неудобство, вроде не к месту объявившейся мухи.

Данилов подошел к парням молча.

– А тебе что нужно, битый? Добавить? – чуть приподняв брови, с обманчивой ленцой поинтересовался спортсмен, легко качнулся в сторону, а рука молнией метнулась в незащищенную шею Данилова... Но дальше случилось странное: Олег просто шагнул навстречу, кулак парня ушел в пустоту, голова нелепо дернулась, ноги подкосились, и он плашмя упал на пол.

Здоровый дважды моргнул, так и не уразумев, что произошло: удара он не заметил. Напал молча, как хорошо тренированный боевой пес. С непостижимой для его массивного

тела скоростью он запрыгнул на ступеньку, ринулся на Олега и вдруг застыл, остановленный легчайшим с виду тычком в грудь. Лицо его побагровело, глаза заплыли яростью, рука метнулась коротким крюком. Олегу в голову. Что произошло дальше, не понял никто: рука здоровяка почему-то «провалялась» и поволокла за собой все его могучее тело, словно в кулаке был зажат тонный чугунный брус. Олег ушел изящно, с шагом, словно матадор, лишь направив весь этот ступок энергии в сторону хромированной барной стойки. От удара дюраль прогнулся, посыпались бутылки, стаканы, а туша продолжала движение, прогибая стояки, пока не замерла в беспамятстве.

Олег подхватил под мышки сбитого мужичка, усадил на стул; тот тряс головой, но в себя уже пришел: допил стакан с пивом, откашлялся, глянул на лежащих.

– Уходить надо. А то закроют «за так». У ментов виноват всегда тот, кто попался. – Мужичок помолчал, добавил:

– Лихо ты их. – Встал, перемахнул через декоративную изгородь и был таков.

Данилов тем временем сбежал по лестнице, помог подняться Ивану Алексеевичу. Тот осторожно повернул шейю, охнул:

– Упал неловко. Ладно, что не поломал, – сплюнул на руку кровь с губы. – Умыться бы... А то хозяйка моя осерчает: скажет, хрен одноногий, совсем сдурел, коли в питейном махаться удумал! Жаль с протезом равновесие не то, но ко-

стылем здорового я достал. – Вздыхнул, добавил:

– Зараза.

– Может, проводить?

– Дойду, не сахарный. И тебе, Олежек, двигать надо: не ровен час «воронок» подъедет, замучаешься объясняловки писать!

Олег улыбнулся хитро:

– Радость жизни не притупилась, Иван Алексеевич?

– Нет. Я на веку столько уродов перевидал, сколько сейчас ни в одном кино не покажут! А эти... Этих жизнь еще крепко поучит. – Он кинул взгляд на Олега.

– Уже учит. А ты, Олег, кто по профессии будешь? Слушаем, не спецназ?

– Нет.

– Ну и тем более двигай, от властей подальше. А то бумажками задушат. Как за порядком глядеть, их нету, а как протоколы кропить... – Иван Алексеевич поднялся. – Не беспокойся, дойду, мне через два двора – и дома. – Спросил, понизив голос:

– А ты, часом, не убил их?

– Нет.

– Уверенно сказал. А кто ж тебе тогда бровь расшибал, коли ты такой хват?

– Бывает. Несвязухи.

– Парень ты крепкий. И ловкий. Я чаю, невезухи твои не сегодня начались, может, не сегодня и закончатся, а всему

край будет.

Растерянный бармен, конопатый, рыжий, выскочил на крылечко, развел руками, спросил неуверенно:

– Кто за убытки платить будет? Всю ж стойку разнесли!

– Я? – Данилов нарочито удивленно приподнял брови. – Разнес?

– Н-нет. Тот, здоровый.

– Вот с него и спроси.

– С него спросишь...

– Не стой пнем, разливала, «крыша», поди, в погонах, вот и вызывай, пусть они балансы по счетам наводят. Да не торопись, эти еще минут десять отдыхать будут, А то и все пятнадцать.

– Понял, – повеселел парень.

Иван Алексеевич протянул руку:

– Ты вот что, Олег... Зиму свою переживи, ладно? В лето вернись.

Иван Алексеевич прошел через двор и скрылся за углом. Олег тоже побрел дворами, но в другую сторону. Денек начался – лучше некуда. Когда в спокойном и тихом, как стоялая лужа, Княжинске ты за пару дней влипаешь в странные истории, стоит задуматься. Ибо совпадения случаются в жизни все же куда реже, чем просчитанные кем-то закономерности.

Глава 3

Милицейский автомобиль появился минуты через три. Впрочем, на то, что он милицейский, указывало только наличие в нем двоих пассажиров в форме; водитель был в партикулярном. Из машины нехотя выбрался человек лет тридцати в чине капитана; притом можно было заметить, что сидела на нем форма как на корове седло, а вернее даже, наоборот – как биндюжная упряжь на хорошем скакуне.

Следом за ним вылез сержант с автоматом.

– Что у нас тут? Поножовщина? – спросил он растерянного бармена, только-только потискавшего кнопки мобильного и сообщившего шефам о происшедшем.

Так быстро «коляску» он не ждал.

– Да нет, драка обычная... – начал лепетать бармен; сержант перекрыл от его взгляда лежащего качка, капитан наклонился к амбалу, приподнял голову: тот невнятно замычал. Капитан кинул быстрый взгляд по сторонам, прихватил голову полубеспамятного парня правой под подбородок, ладонь левой нежно положил на затылок и резко крутнул вправо. Движение было молниеносно; тело здоровяка на мгновение напряглось и обмякло.

Капитан выпрямился, двинулся к бармену:

– Обычная драка, говоришь? И кто ж, такой резвый, здесь махался?

– Да мужик какой-то. Эти к старику хромому пристали, а он... Он даже и не дрался вроде, завалил обоих играючи.

– Играючи, говоришь? И в мир иной так же, играючи, переправил?

– Чего? – не понял бармен.

– Этот вот, – кивнул капитан на здоровяка, – откинулся.

– В смысле?

– В смысле – в ящик сыграл. А уж Богу он душу отдал или кому другому – это не нам судить. Убийство. Покумекаем, разберемся: преднамеренно его или по неосторожности. Савельев! – скомандовал он сержанту. – Вызывай дежурную бригаду. Труп оформлять будем. Ну и все остальное тоже.

Капитан подхватил со стойки бутылку пива, сдернул пробку о ребро стола, уселся на пластмассовый стул, отхлебнул, вынул из кармана портмоне, раскрыл: в нем оказалась фотография Олега Данилова. Лицо капитана скривила гримаска.

– А шустрый ты, видно, парень, – капитан подмигнул изображению, – раз тебя такие люди приземлить озаботились. А ты еще и помог. – Капитан приложился к бутылке основательно, выпростал пиво до доньшка, умиротворенно выдохнул, оглядываясь по сторонам. – Денек обещает быть жарким. – Закурил, произнес, рассматривая фотографию:

– И не обижайся, земля. Ничего личного.

Автоматический скоростной затвор фотоаппарата щелкнул несколько раз.

– А здесь нечисто играют, – произнес молодой человек лет тридцати, сидевший рядом с водителем в потрепанной «восьмерке» с затененными стеклами метрах в двадцати от заведения.

– Скажи, где чисто. Поедем туда. И даже останемся там жить, – меланхолично откликнулся напарник за рулем, лысый усатый крепышок возрастом далеко за сорок.

– Да ты философ.

– Чем дольше живешь, тем лучше разумеешь: жизнь если и течет, то только от плохого к худшему.

– Ага. «Картина ясная, Одесса красная...» – пропел молодой, продолжая наблюдать. – Все как на ладошке: опись, протокол, отпечатки пальцев, – сказал он и заржал, имитируя смех Лелика из «Бриллиантовой руки».

– Ты чего развеселился?

– Саныч, его ведь пасет еще группа. Помимо нас. Видишь «шестеру» на обочине?

– Угу.

– Интересно, что этот парень такое напортачил, что на него целую облаву завели?

– Тебе не все равно?

– Вообще-то да. Но просто торчать манекеном – скучно. А так хоть подумать.

– Романы пиши.

– Не, я и читать-то не люблю, а писать... Этот Данилов уже дописался.

– У журналистов вообще крыши не на месте. Ладно бы просто брехали, а то ведь еще нос дерут: «четвертая власть». А сами – памперсы, промокашки: кто им какую мочу сольет, ту они и в газету тащат.

– Ну морду бы ему набили или замочили. А то ведь... Ты видал, капитан тому отморозку, которого Данилов уложил, шею свернул. Приземлять станут журналиста со всем усердием. Зачем?

– Меньше знаешь – легче спишь. Не нашего ума дело.

– А что – нашего?

– А ничего. Я себе думаю, этот капитан – такой же капитан, как тот Данилов журналист. И форма сидит – как сбруя на блохе.

– Опер. На операх форма всегда колом. Да и следственно-экспертную он вызвал. Зачем ему? Раз труп – бригада будет прокурорская, то-се, экспертиза...

Эдак он сам себе может веревочку на шею намылить.

– Молодой ты еще. Прокуратура берет преднамеренные, а если смерть наступила вследствие побоев, то это – как раз райотдела ментовского «палочка».

Ты видел, у капитана уже и фото «преступника» есть. – Саныч усмехнулся. – В портмоне. Приземлят журналиста годочков на десять как пить дать. Если он журналист.

– Да журналист, точно. У меня тесть газеты вечно штудирует, хвалил его.

Говорил – головастый.

– Вот и укоротят на ту самую голову. А уж что в его голове на самом деле варится... Видал, как он парней разложил?

– Быстро.

– Не в этом дело. Он сдерживал удары, понял?

– Сдерживал? Что-то я не заметил.

– Рассчитывал, чтобы не убить.

Молодой пожал плечами:

– Наверное, карате занимался. Или еще чем.

Саныч скосил взгляд, скривился:

– Это не спортивные удары. Такую школу ставили только в конторах. Да и то в особых управлениях.

– "Сдерживал удары..." А капитан его и подправил. До полной летальности.

Зачем ему это?

– Видно, на крючке капитан у кого-то. Вот и отрабатывает, – равнодушно произнес Саныч, потер переносицу. – А вообще... Чувствую я дурь какую-то во всем. Муть.

– В смысле?

– Подставной казачок этот Данилов. Засланный. Щас вся орава на него кинется, а как раз это кому-то и нужно. Не, не журналист он, точно.

– Может, пройду за ним?

– Сиди. Нам ведено не светиться. Вот и не будем. Сейчас коляску милицейскую дождемся, узнаем, кто конкретно дело возьмет – мало ли что, и – можно к шефу.

– Скажешь ему, что мне сказал?

– Зачем?

– Ну, вообще.

– Нечего умничать, когда не спрашивают. Начальство этого не любит. А материала для отчета у нас и так навалом.

Данилов прошел проходной двор, еще один... Ни о чем он не думал. Странно, но в груди снова разлилась щемящая тоска, что только тронула утром душу, а вот теперь... И день как-то померк, и небо показалось неприлично ярким, и он вдруг почувствовал себя совершенно затерянным и в этом чужом городе, и в этой чужой стране, и на этой чужой планете...

...Так уже было когда-то. Он брел по африканскому бушу, коричневая пыль покрывала с головы до пят, запах выжженной солнцем травы к ночи становился терпким и густым, и к нему примешивались совершенно непостижимые для горожанина-европейца ароматы каких-то диковинных растений. Вечером жара спадала, и можно было двигаться дальше, на восток, ориентируясь по чужим звездам. Небо здесь было совсем другое; знакомые с детства созвездия остались далеко, у линии горизонта или за ним, и очертания их были иными. А когда солнце скрывалось за рваной поволокой зари, ночь наполнялась хохотом гиен, оранжевыми огоньками чужих настороженных глаз, ревом, вздохами и – новыми ароматами, неуловимыми днем, и такими яркими в густой фиолетово-черной ночи.

...Данилов брел по этому чужому пространству который

день, голова тихо кружилась от усталости и истощения, и, только падая обессиленно на землю, чтобы забыться тяжким, чутким сном, он понимал, что находится не на дальней планете, а на Земле: слишком привычным и реальным было чувство опасности...

Теперь было то же. Воздух, казалось, сгустился, свет начинающего дня померк, Данилов застыл прямо посреди двора, нелепо вращая головой. Все было мирно: старушки у подъездов, пара алканов на лавочке под ивой, бродяжки у мусорных баков... Но ощущение тревоги сделалось острым, как отточенный стилет.

Или это просто нервы? Нужно дойти до дому и расслабиться, потягивая сухое винцо: тревога уляжется, все глупости, совершенные за вчерашний день, покажутся мнимыми и мир вернется в свою колею. Если у бы него, Данилова, была когда-нибудь хоть какая колея! Такая натура: стоило его жизни хоть немножко устояться, как он совершал странные поступки, лишь бы избавиться от того ощущения покоя и скуки, которые обрекали любого, им поддавшегося, на унылое прозябание.

Занятый своими мыслями, Олег пересекал небольшую улочку, когда выскочившая невесть откуда «копейка» понеслась прямо на него. Данилов вяло протрусил до тротуара, но, видно, у водителя крыша давно съехала по резьбе, причем влево:

«копейка», не снижая скорость, вильнула к той же обочи-

не...

Все дальнейшее Данилов не просчитывал. Просто выпрыгнул высоко, сгруппировался; удар корпусом пришелся на верх лобового стекла, Олега подбросило, он перекатился через крышу и неловко упал на асфальт позади автомобиля. Вскочил.

Машина зайчиком скакнула на бордюр, юзанула по траве и боком впилилась в дерево. Олег в два прыжка одолел расстояние до автомобиля, дернул дверцу: та оказалась заперта. Зато-нированные вглухую стекла вызвали только раздражение: шпана вокзальная! Денег на «копейку», а – туда же! В ярости Данилов раскрошил боковое стекло коротким резким ударом, выдернул задвижку, распахнул дверцу.

Первое, что он увидел, был черный зрачок пистолетного ствола. Бледный парниша на пассажирском сиденье что есть мочи жал на курок, совершенно забыв в запарке о предохранителе.

Данилов ударил жестко прямым правой в лицо, выдернул пистолет из разом ослабевшей кисти, глянул на водителя: тот сидел вцепившись в руль, как в спасательный круг, и смотрел на Олега белыми то ли от страха, то ли от закачанной дозы глазами.

– Вылезай! – гаркнул Данилов, выразился крепко и коротко, выдохнул и приказал спокойнее, но тоном, не предвещавшим ничего хорошего:

– Живо, я сказал!

Вот ведь везуха с утра, нечего сказать! Сначала «двое из ларца», теперь – пара обдолбанных торчков, да еще со стволом! Сакраментальный русский вопрос «что делать» даже не возникал; понятно что: задать этим дебилам хорошую трепку, так сказать, для профилактики и до кучи!

Вынырнувшую из-за угла «восьмерку» Олег заметил боковым зрением. Шла она ходко и направлялась к месту аварии. Оч-ч-чень по-хозяйски.

Ждать у моря погоды Олег не стал. Тем более не было здесь никакого моря!

Развернулся и рванул в проходной. Бежал легко, «сквозняк» проскочил в секунды; полуобернувшись, успел заметить ринувшегося за ним из «восьмерки» милицейского сержанта. В табельном «бронике» и с автоматом тот мог догнать разве что беременную старушку, да и то если бабка – с глубокого похмелья.

Олег миновал еще пару дворов, перешел по подземному проспекту, завернул в тихий скверик и только тут, на самой дальней лавочке, поставленной выпивохами в густых зарослях одичавших акаций, тормознулся. Это был другой район, и Данилов легкомысленно предположил, что ретивые правоохранцы искать его сюда не придут исключительно по неподведомственности территории.

Извлек пистолет, который впопыхах сунул за пояс джинсов сзади, и прикрыл тенниской, рассмотрел внимательно. Тульский Токарева, самая популярная модель на просторах

страны. Скорострелен, анонимен, прост в обращении. Вот только одна маленькая загвоздочка. Именно у этого экземпляра обойма пуста. И ствол – пропилен. То есть это никакое не оружие, а обыкновенный пугач.

Но это не освобождает голову от размышлений. Ибо если странные случайности неприятного свойства стали сыпаться на тебя, как из драного мешка, то это вовсе не случайности, а закономерности. А все закономерности, как учит диалектика, имеют свои причины. Не говоря уже о последствиях.

Глава 4

Солнце заливало город белым, жара наливалась влагой, обещая будущий дождь, но так было уже не день и не два. тучи, что бродили в прозрачной синеве, наплывали чернотой и даже закрывали порой полнеба, но не проливалось ни капли, и истомленные жарой и духотой люди к вечеру вяло брели по домам, чтобы на следующий день вновь окунуться во влажное душное марево.

Так бывает порой: знойный день, желтея, словно проявляется на пленке, его очертания проступают, и ты вдруг понимаешь, что оказался словно в другом мире, в другой реальности, в другом измерении, что город пуст, что пуста планета, и ты здесь один-одинешенек, и никто не поможет тебе принять решение, да и не может быть в этом чужом мире никакого решения, но не принимать его тоже нельзя...

Город был пустым. Данилов мог бы брести по нему вечность и никого не встретить.

А всполохи воспоминаний спешили непонятной раскадровкой: сочные стебли хвощей в сыром и мелком сосновом подлеске, папоротник у пряно пахнущего ручья, синие и фиолетовые соцветия мать-и-мачехи, листики подорожника у истертой тропки, сочная зелень травы на другой тропке, к безвестному пруду, и гадливая изморозь по всей спине, когда липкий ужик проскользнул прямо под босой пяткой... К

чему все эти воспоминания и почему они явились теперь?..

Данилов выверенными движениями разобрал бездействующий пистолет на части, стер краем тенниски отпечатки и веером забросил железки в кусты. Встал, прошел скверик, маленькую площадь, проскочил безымянную улочку, нырнул в подворотню, миновал несколько проходных, выскочил прямо к остановке троллейбуса, рванул было за ним, уже готовым тронуться, но вместо этого остановил уже отошедшую маршрутку, проехал на ней с квартал, остановил на перекрестке, соскочил, попетлял по проулкам, вышел к другому перекрестку, запруженному нескончаемой пробкой, пересек, рванул по совсем неизвестной улочке вниз... Снова проходные, забор какой-то реставрационной стройки, еще один... Данилов оказался в дореволюционном строении; проскочил в подъезд, не без труда одолел три пролета полупорухенной лестницы и оказался в огромной пустой комнате, взирающей единственным окном на глухой, красного кирпича, торец такого же покинутого дома.

Ни о чем во время этого спринтерского рывка Данилов не думал. Если и были за ним филеры, конторские или доморощенные, то теперь они его потеряли. Если все это не паранойя. День словно застыл за окнами, прилепленный тенью дальнего старого тополя к выщербленной кладке напротив. Огромная муха зудливо билась в паутине у края окна; казалось, еще рывок, и она вырвется на свободу, но маленький шустрый паучок проворно заскользил по липким нитям, стя-

нул клейкой паутиной жертве лапки, притянул одну к другой... Теперь паучок не спешил, лишь плотнее стягивал кокон вокруг добычи, чтобы потом насладиться обильным пиршеством.

Олег нашел в углу что-то вроде низенького табурета, присел, вытянул из пачки сигарету, чиркнул кремнем, трижды затянулся, не отнимая сигареты от губ и рассматривая комнату. Остатки бледно-зеленых обоев с толщиной газет под ними, проржавевшая сетка кровати у стены, продавленная пластмассовая кукла, измятая крышка кастрюли, оловянный солдатик, шахматный король без короны... У кого-то здесь прошла жизнь. И – кончилась.

Данилов дотянулся до солдатика, поднял. Круглая подставка давно поломалась, а в остальном – все как надо: каска, автомат. Когда-то он сам играл такими. Много было когда-то. И все прошло.

– Неизвестность времени смерти рождает иллюзию безграничности жизни, – услышал Данилов скрипучий голос из соседней комнаты, заглянул, но никого не увидел: она была мала и абсолютно пуста, если не считать заваленного набок фанерного платяного шкафа. – Люди если и взглядывают на часы, то лишь затем, чтобы высмотреть, сколько осталось до сна или До ужина. А в свою смерть они не верят.

Голос раздавался сверху: в высоком потолке зияла дыра, над нею склонился небритый человечек, одетый, впрочем, чисто и опрятно, хотя и бедно. Спросил Данилова:

– Ищите что-то здесь?

– Покая, – чуть раздраженно откликнулся Олег.

– Вот этого среди развалин искать нечего... – Человечек спустился на этаж и появился в проеме двери. Было ему на вид лет шестьдесят с преизрядным гаком.

– Хотя... Если рассуждать философски... Люди странны: боятся упустить минуты, а опаздывают на целую жизнь.

Человечек вздохнул, Данилов почувствовал свежий запах водочного перегара.

– Папироской не разодолжите? – спросил незнакомец. Данилов высыпал на ладонь горсть сигарет, протянул:

– Пожалуйста.

– Хорошего человека сразу видно. – Человечек забрал штук семь, спрятал в карман, прикурил от предложенного огня, аппетитно затянулся. – Вы не подумайте, я не бомж и не мародер... Просто я один. И общаться совсем разучился. А здесь... Здесь интереснее, чем в кино: и какие только жизни не предстают перед взором, и какие только страсти не полыхают, когда глядишь на все оставленное...

Что у вас? Солдатик?

– Да.

– Видите... И кукла. Почти как у Андерсена. Или у Окуджавы: «В огонь? Ну что ж! Иди! Идешь? И он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош...» Что стало с тем мальчиком? Что стало с той девочкой? Что стало со всеми нами?

Человечек вынул из пиджака початую чекушку:

– Будете?

Олег покачал головой.

– А я – выпью. Мне хорошо здесь. Мне милы вещи ушедшего века и ушедшей страны. Среди них вспоминается о хорошем. – Человечек приложился к горлышку, несколько раз дернул острым кадыком. – Хотя – знаете, в чем штука? Ностальгия – это память вовсе не о прошлом, это воспоминание о том, что в нем так и не состоялось... Есть у души странное свойство: проникаться чужими видениями, мыслями, эмоциями, и вот они становятся настолько близки, что делаются частью твоего опыта и твоей жизни... «Я в старый троллейбус сажусь на ходу, последний, прощальный...» – Голос у человека дрогнул, на глазах показались слезы. – Господи, если бы я знал тогда, сорок лет назад, когда в нетрезвом молодом беззаботстве горланил эту песню на Ленинских горах, если бы я знал, что троллейбус уйдет так скоро и уход его будет столь невозвратен... А я все продолжаю стоять на остановке и все жду, жду... Чего? Или – кого?

Вот и все разбрелись по дорогам,
И забылись дурью вчерашней,
Как осенние псы по острогам,
Доверяя любви бражной.
Вот и все побежали в осень,
А я еду – от моря к морю,
Чтоб из прошлого бросить мостик,
С непутевой жизнью повздорю,

А я еду из лета в лето,
Разрываю ненужную повесть...
Вновь листвою земля согрета,
Как под ветром озябшая совесть. ⁴

Да, молодой человек. Листва согревает землю, а кто согреет вас, когда уже не останется впереди лета, когда на пороге ступит восьмой десяток и вы окажетесь в одиночестве никому не нужным и никому не важным? А мир останется молодым, он будет ликовать, но без вас, и душа ваша – а душа не старится, потому что юна и бессмертна! – возжаждет прибиться к этому празднику, но убогое тело, что было когда-то гибким и послушным, станет ей помехою и обузой...

В два глотка человечек допил водку, глянул на Данилова устало:

– Уходите отсюда, молодой человек. Здесь не место молодым людям и молодым вещам. Четыре стены и пятая, в окне, что перекрывает даже ветер... Она стоит здесь несокрушимой кладкой уже более века и смотрит на человекообразных с невозмутимой непроглядностью сфинкса... Стены переживают людей, но куда обиднее другое: людей переживают вещи. Их собственные вещи. Вас это не забавляет?

– Нет.

– И меня тоже. Хотя порой и приходит этакое бешенство, и хочется изломать вокруг все и вся! – Человечек вздохнул. –

⁴ Стихотворение Петра Катериничева.

Или вы хотите вспомнить о чем-то? Что ж, подводить итоги жизни никогда не рано, но знаете что? Таким, как вы, нельзя оставаться долго в покинутых местах. Они обольстят вас, и вам не захочется возвращаться. Так кончается жизнь.

– Разве вы не живете?

– Я фантазирую. Вы слишком молоды для этого. И – сильны. Уходите. Иначе вам станет некуда идти. Или – вас гонят? Данилов бросил на человечка быстрый взгляд.

– Ну да, гонят, я не ошибся.

– Мне нужно подумать.

– Здесь невозможно думать. Только жалеть о том, что не сбылось. У меня есть для этого досуг именно потому, что его не заполнить ничем иным. А вам нужно идти. Кстати, как вы сюда забрались?

– По лестнице.

– Вот как? Она же почти развалена «реставраторами»! Смотрите не сверните шею на обратном пути.

– Пустое.

– Я надоел вам... – вздохнул человечек. – Ну Что ж... Может быть, вы и правы. В вашем возрасте воспоминания связывают настоящее с будущим, в моем – лишь тревожат душу тоской несбывшегося, но не лечат... Водка помогает справиться с памятью, когда несостоявшееся прошлое становится мучительным. – Он пристально посмотрел на Данилова, произнес:

– Ведь вас кто-то ждет.

Лицо человечка сморщилось, и он стал похож на совершенного старика. Не говоря ни слова, незнакомец церемонно поклонился Данилову, мелкими бесшумными шажками вышел из комнаты и словно пропал. Олег обеспокоенно встал, вышел на действительно чудом державшуюся на двух ржавых арматуринах лестницу, но никого не увидел. Незнакомца не было. Он и не спускался: на пяти ступеньках кряду Олег загодя рассыпал ровным слоем старую штукатурку и битое стекло на случай, если кто захочет подобраться неслышно, и миновать бесшумно эту «контрольно-следовую полосу» старик не смог бы... Пропал. А прочитанные им стихи остались.

Глава 5

«Вот и все разобрались по дорогам...» Так о чем толковал этот странный незнакомец? О жизни? И о смерти? Странно... Счастье он даже не упоминал.

...Летний день наполнен светом. Там, за огромным ясным окном, – нарядные люди, начало мая и впереди еще все лето, и впереди – вся жизнь.

Его отец – молодой, сильный, веселый, он подбрасывал маленького Олега высоко-высоко, к самому-самому небу, а небо оставалось далеким, и Олежка смеялся беззаботно, и казалось, такой будет вся жизнь... Он слышал упругие удары духового оркестра и пошел на них, и зашагал вместе с оркестром, а позади шли нарядные люди, и они пели, когда колонна останавливалась: «Кипучая, могучая, никем не победимая, страна моя, Москва моя – ты самая любимая...»

И это была правда: нельзя победить веселых и молодых.

А родители, не найдя его во дворе; бросились искать, и отец метался вдоль колонны, и увидел его, подошел, но совсем не ругал, а только поговорил с музыкантами, а Олег продолжал улыбаться во весь рот, и ему было хорошо и от теплого воздуха, и от солнца, и от упругих ударов большого барабана, в который толстый дядя дал ему стукнуть обмотанной толстым войлоком тяжелой палкой, похожей на богатырскую палицу, и Олег тут же представил себя богатырем

Добрыней, созывающим киевлян на пир к князю Владимиру Красное Солнышко... И еще он услышал за спиной женский голос:

– Этого, что ль, мальчонку искали? Он потерялся?

– Да ты что, Татьяна? Вот и отец. Да и разве такие – потерянные?

А он пошел обратно к дому, к маме, и чувствовал – его ладонь обнимает сильная и широкая ладонь отца, и от этого было спокойно и хорошо.

...Отец умирал два года. Олегу тогда исполнилось девять или десять, в свой день рождения он пошел к отцу в больницу, тот начал уже вставать после инфаркта. Больница располагалась за городом, был теплый нежаркий августовский день, пахло смолой, солнце ласкало бликами сквозь хвойные ветви, отец сидел на поляне и вырезал узоры на прутике многолезвийным перочинным ножом. Узорчатый прутик он подарил Олежке, ножик тоже – это был настоящий клад, там были даже крохотные ножнички! Отец попросил оставить ножик ему до следующего раза, ничего, кроме как вырезать, он еще по слабости не мог, но Олег не согласился, закапризничал: он уже представил, как покажет эту редкую игрушку во дворе, как обзавидуются пацаны: такого ни у кого не было! И – постарался побыстрее уйти.

Резной прутик поломался в тот же день, ножик стащили, а вот теперь...

Теперь ему было стыдно. И будет стыдно всегда. Папа ты-

саячу раз простил бы его, но сам Данилов себя не простил.

И было стыдно потом, когда он приехал к отцу уже в другую больницу, и там пахло какими-то мазями, тяжелым потом, нездоровьем... Он боялся этой больницы, ему было очень неуютно там и беспокойно, и он торопился: торопился домой посмотреть какой-то фильм, которого и названия-то теперь не помнил... Он так и не остался тогда с отцом, а тому ведь немного было нужно: посидеть рядом, потрепать по волосам, просто видеть...

И потом, когда отец после инсульта возвратился домой, он уже не говорил, и что-то пытался сказать, и раздражался, а Олежка психовал, уходил в спальню, тыкался лицом в подушку и плакал... Его злило тогда, что отец беспомощен, что, несмотря на эту беспомощность, он что-то требует, и на чем-то настаивает, и выключает телевизор, и отправляет спать...

И еще – папа растил цветы. Он едва передвигался по квартире, ночами стонал от боли так, что Олежку порой отправляли спать к соседям... А цветы были везде: они вились по стенам гирляндами, цвели на балконе в ящичках до самой поздней осени, расцветали на подоконниках... А потом папа умер.

Олегу тогда было одиннадцать. Он часто плакал. И еще – играл. Он представлял себя то последним из спартанцев, защищавшим родной город, то русским воином. И любил играть в солдатиков. Одним из солдатиков был он сам.

...Когда Олег вырос, мама его ждала. А он все уезжал и

уезжал. И наверное, обижал маму бессчетно: она отличалась характером жестким и своенравным, он был такой же, и каждый желал всегда настоять на своем...

...Когда-то она подарила ему машинку-амфибию. Машинка плавала в ванне и перевозила солдатиков с одного берега на другой, и Олежке казалось, что это Африка. Он выключал свет и подсвечивал воду фонариком: фонарик был самый обычный, но – о чудо! – он светил из-под воды, и переправа была тяжелой, и не все добирались живыми...

...Мама болела часто, она старилась, но она ведь была всегда и, казалось, будет всегда... А потом попала в больницу. Когда он приехал, ее уже выписали.

Мама умирала четыре дня. Она ничего не ела и не пила, щеки запали, нос заострился... Дважды приезжала «скорая», врачи бестолково суетились вокруг и только разводили руками. Двоюродные и троюродные тетушки приходили, смотрели, тихо пили чай на кухне, шептались: «Отходит».

Олег спал рядом на полу. Мама была беспокойной, лишь иногда, а он чувствовал тупое бессилие и усталость – от невозможности чем-то помочь и даже вообще понять, что происходит.

Потом дыхание ее сделалось совсем тяжелым, поднялась температура, казалось, мама задыхается, Данилов снова вызвал «скорую», та не приезжала, он сам побежал на станцию... Женщина-врач посмотрела, произнесла мало-мальски понятное слово: «абсцесс», потом другое: «Госпитализация.

Немедленно».

Они закутали маму в какое-то пальто, Олег кинулся искать шаль, не нашел, отыскал какую-то шапку черного каракуля, которую мама, кажется, и не надевала ни разу и не носила... Потом ее подняли в покрывале, понесли вниз по лестнице... Мама была легкой. И дурацкая шапка была ей велика, сползала на лоб и глаза, и мама, и без того исхудавшая, становилась вдруг неузнаваемой, и Олег непрерывно, уже в машине, все поправлял и поправлял шапку...

Потом были каталка, рентген, приемный покой, очень красивая медсестра, что брала у мамы кровь из пальца и исчезла как видение, оставив после себя запах необычайно дорогих французских духов... Никто не суетился, все знали, что им делать, это успокаивало... Маму увозили на каталке, Олег погладил ее по волосам, поцеловал, прошептал что-то, что – он теперь и не помнил... Молодой доктор звонил куда-то, сказал, что место ее будет в реанимации, что абсцесс будут оперировать сейчас, ушел, а Олег все ходил по коридорам, сжимая в ладошке полусотню, не зная, кому отдать деньги, потом отдал какой-то медсестре в приемном покое...

Была ночь, и шел снег. Он падал крупными хлопьями, и ночь была звездной, а воздух – пряным и свежим, с ароматом морозца и сосновой смолы, а на душе сделалось спокойно и даже радостно: мама вовсе не умирала, просто врачи не могли найти причину болезни, а теперь вот нашли, и теперь ее вылечат...

Пролежит она недели две, не меньше, а он успеет сделать работу, потому что денег нет совсем, а потом вознаградит врачей, и все еще будет хорошо... И он пошел домой.

Возвращался он попуткой, приборы светились зеленым спокойным светом, снег лепил в ветровое стекло, а Данилов не ощущал ничего, кроме усталости.

Следующим утром он был радостно-возбужден. Он пришел в больницу, нашел нужный этаж, открыл дверь в ординаторскую, спросил о маме.

Доктор был усталым. Олег еще что-то продолжал говорить, а доктор уже встал, подошел к нему, сказал просто, словно отчеркнул всю прошлую жизнь Данилова от теперешней:

– Она умерла.

Потом он тихо говорил еще что-то и еще... «Недавно был повторный инфаркт... как следствие, отек правого легкого... абсцесс... возраст...»

Все это было не важно. Данилов даже не спросил, когда это случилось... Он знал: ночью. Под падающий снег, что укрывал землю белым-белым...

А потом были хлопоты, и девять дней, и сорок дней, и тупая усталость, и головные боли, неотвязные, изматывающие, а Данилов впервые понял, что остался совсем-совсем один.

Сиротство ощущается просто: ты никогда уже не вернешься туда, где тебя будут любить только потому, что ты есть.

...Олег чиркнул зажигалкой, прикурил сигарету. Не правда, что итоги жизни подводятся к ее закату. Его итог неутешителен: четыре стены чужого дома, и он даже не знает, стоит ли ему возвращаться... Хотя... Нужно вспомнить хотя бы один счастливый день. Или мгновение...

...Стояла ранняя осень, день был ясен, прозрачен, свеж... Олег проснулся рано-рано, тихо оделся и вышел из дому. Он добежал до подземки, бабушки только-только собрались и выставляли в ведра пряно пахнущие хризантемы и астры, их были целые охапки, и он купил такую охапку, свежую, еще в росе, и пошел домой... Да что шел – летел! Теплое солнце струилось сквозь золотое кружево листьев, и аромат был такой, что его можно было пить, как это ярко-синее небо, как ласку лучей, как любовь...

Когда он вернулся, жена еще спала, и он рассыпал цветы по подушке, и она проснулась, и они были счастливы, и глаза ее были как небо... Казалось, так будет всегда. Но потом она ушла. Совсем.

Квартиру Данилов разменял на гостинку: нужно было расплатиться с долгами, и оказался в другом районе и в другой жизни. В таком городе, как Москва, поменять район – это почти что поменять город. И даже люди другие.

А потом он уехал далеко-далеко. К чужим звездам, дивным цветам, океану...

Еще там была девушка, что любила бродить по самой кромке прибоя... И все тоже кончилось.

Но остался страх полюбить, потому что страх потерять любовь уже обжился где-то под сердцем, делая его кусочком льда, а собственное жилище – уголком замка Снежной Королевы, в котором ты замурован неприкаянным Каем, боящимся любви и тем – предающим ее...

Данилов вернулся в Москву, и город показался ему еще более пустым и чужим, чем был до того, как он его оставил. Впрочем, любой город пуст, если тебе некуда пойти.

Олег даже заходил в свой старый двор, но там давно не осталось ничего, что напоминало ему о детстве: деревянную горку, "бывшую для него когда-то и крепостью, и плавучим домом, снесли; спилили и старый тополь... В прежних местах не найти покоя, как не найти сочувствия в прежних женщинах. И это правда.

В Княжинске скончалась двоюродная тетушка, Данилову осталась квартира, и он уехал в Княжинск, не намереваясь задерживаться, но задержался потому, что ему было все равно, где жить.

Так было до вчерашнего дня. А потом начались странные неприятности. Так что он делал вчера? То же, что и сегодня. Лежал и думал. О жизни.

Глава 6

Жизнь зависит от нашего отношения к ней. По крайней мере наполовину.

Другая половина жизни складывается из того, как она относится к нам. А к нам она относится соответственно сопротивлению всему хорошему, что она нам дарит.

Люди горды. И не желают подарков. А если таковые и случаются, стараются поскорее от них избавиться. Например, от счастья. Ибо счастье – это прежде всего со-участие в других и со-чувствие. Такую ношу не каждый захочет сносить.

Невыносимая легкость бытия... Наш скудный духом век убогие духом вожди провозгласили «веком личности»: дружбу, любовь, привязанность сочли покушением на ее постылую свободу и тем – навязали большинству неприкаянную гордость одиночества.

Данилов лежал на спине и глядел на небо. Небо было сочно-синим, как бывает всегда после долгой непогоды. Он не хотел ни о чем думать. Но это и было самым трудным: заставить себя не думать...

Странно, но многим людям совершенно наплевать на то, что с ними происходит. Важно лишь то, что случается. Выдали зарплату, напился муж, подгуляла жена... Все их отчаяние сосредоточено в ругани, алчности, пьянстве, а понимание происходящего лишь будит дремлющую зависть. Нико-

му не нужна справедливость для всех; справедливость же к самим себе люди определяют просто: количеством удач, де-нег, того, что принято называть жизненными благами. Людям нужна не правда, а лишь видимость благопристойности.

Олег перевернулся на живот и стал смотреть на воду. Река пробегала мимо, где-то на том берегу играли в мяч... Все пройдет. И это тоже. Останется лишь смутное воспоминание... Бегущая вода, солнечное тепло, ласкающее плечи, кружево листьев над головой... Он закрыл глаза. Зима кончилась. Кончилась. Ему на миг даже пригрезилось, что она кончилась навсегда. И никогда он больше не увидит ни унылых прохожих, вязнущих в жижеве неубранных тротуаров, ни заиндевелых троллейбусов, лязгающих при каждом движении бесхозными железяками дверей, будто старческими зубными протезами, ни серых домов, скользких от влажных потеков хлипкого беспогодья и кутающихся в простудно-мглистый предвечерний сумрак, как в сырую вату. Олегу порой казалось, что и людям зимой хочется укутаться, укрыться, замереть сухими пчелиными остовами между оконными рамами до тепла и света, чтобы с первыми лучами ожить вновь, зазвенеть натянутой леской и – ринуться в скупое разноцветье лугов, в пряный аромат трав, в желтое медовое тепло липового лета...

Но и призрак зимы никуда не делся. Вот и теперь, пусть на мгновение, и река показалась Олегу занесенной рыхлой и грязной пеной, и деревья из шумящих сочной листвой поло-

гов словно превратились в застывшие безжизненные колоды, исчерченные черными штрихами мертвых сучьев.

Воздух упруго вздрагивал от ритмов стереосистемы на том берегу.

Хорошенькое растет поколение... Активное. Действие рассеивает беспокойство по поводу жизни. Да и чего тревожиться, если мир принадлежит молодым? Свежесть и обаяние можно обменять на все – на богатство, благосостояние, сытость... Это кому повезет. Но не получить ни любви, ни привязанности.

Не важно. Молодость эгоистична, самонадеянна и самодовольна. И разве может представить себя юная нимфетка обрюзгшей, нагруженной сумками теткой, озабоченной пререканиями с болезненной свекровью, безденежьем, радикулитом, с некрасивыми толстыми ногами в синюшных венах?.. Разве может увидеть себя белокурый атлет пузатым алканом с потухшими глазками, с одышкой, разящей луком и воблово-водочным перегаром, с болями в подбрюшьи, с непреходящей усталостью?

Вынужденным ходить изо дня в день на никчемную работу и возвращаться в постылую конуру квартиры, чтобы выслушивать сварливые выговоры выживающей из ума тещи и видеть дебелую крикливую жену?.. Да еще и пятнадцатилетняя дочь, смолящая в подъезде косячки, облизавшая уже всех окрестных самцов, злая, дерганая, глядящая на папашу, как на природное недоразумение... Разве это может случиться-

ся с молодыми?

Никогда. Потому что молодость вечна и не допускает мысли о том, что их родители были когда-то такими же: глупыми, взбалмошными, нерасчетливыми...

Старики, им уже за сорок! Что остается в этом возрасте? Кое-как доживать. И только. Мир принадлежит молодым.

...Но всем одинаково хочется на что-нибудь заморочиться...

Данилов услышал, как подъехал тяжелый автомобиль, остановился, скрипнув тормозами. Олег приоткрыл глаза и метрах в тридцати узрел рифленый протектор джипа. Вдохнул и снова расслабился. От крутых, как от солнца, – никуда.

Олег никогда не загорал на грязнящем городском пляже: не ленился прошагать с километр вдоль какой-нибудь из многочисленных проток Борисфена, чтобы устроиться в одиночестве. Музыка, что доносилась с другого берега, делала его уединение не столь печальным. Эти же ребята, судя по отдаленности от цивилизации, намерены повеселиться вовсю: с винцом, шашлычком, девчонками. Флаг им в руки, барабан – на шею, пилотку – на голову.

Данилов не желал себе признаваться в том, что был даже рад сомнительному и довольно бесцеремонному соседству. Одиночество плохо тем, что, если человек не занят конкретной работой, оно начинает быстро доставать пустопорожним умничаньем, и проблемы, так недавно казавшиеся забытыми или решенными, вдруг всплывают из глубин подсознания

укоряющим набором совершенных несутрациц, приведших к
вовсе уж плачевным результатам. А так... Можно, пусть мыс-
ленно, подосадовать на гундосый музон, позлословить про
себя туповатых недорослей из джиба, впрочем чуть-чуть за-
видуя притом их немудрящей алчности и аппетиту к водке,
мясу и девкам, и, чувствуя внутреннее превосходство, убе-
диться с затаенной тоской, что между тобою и Солнцем по-
прежнему никого. Вполне простительная рефлексия для ин-
теллектуала без определенных занятий.

Олег опустил голову на руки и закрыл глаза. Все звуки во-
круг словно укрылись томным туманом, ему виделся уже ка-
кой-то желтый пляж, сине-лазурное море под выцветшим от
зноя небом, треугольный парус, мающийся в дальнем маре-
ве, затененная дорожка куда-то наверх, к белому дому, окру-
женному двором, занавешенным рыбацкими сетями, пряно
пахнущими водорослями и морем... И сам он сидел на те-
нистой террасе за дощатым столом с запотевшим кувшином
терпкого красного вина и знал, что в комнатах позади дрем-
лет в пос-лелюбовной неге похожая на девчонку загорелая
женщина с соломенными от солнца волосами, и маленький
белоголовый мальчик спит в колыбели, и у его кровати пах-
нет печеньем и молоком, и мальчик улыбается во сне, и сны
его полны моря, любви и света... И он, Олег, знает, что жизнь
продлится вечно, и сын вырастет и станет сильным, и море
будет все так же ласкать берег, и рыбак под треугольным па-
русом будет все так же скользить по податливой глади где-то

у горизонта, и счастье будет бесконечно...

...Полковнику никто не пишет, Полковника никто не ждет...

Данилов открыл глаза. Трое крепко подвыпивших стриженных пацанов заунывно тянули эту песню, поочередно прихлебывая ром из массивной цветастой бутылки.

Девчонка была почему-то одна. Ей вряд ли было больше пятнадцати. Она сидела на земле, вытянув ноги и прислонившись спиной к бамперу автомобиля, и тоже цедила из горлышка какое-то вино.

Сначала Олег хотел встать и уйти. Но вставать было лень: солнце грело спину, река несуетливо несла свои воды, обрывки сна еще бродили в мозгу, и Данилов хотел лишь одного: вернуться туда, в затененный двор, к белому дому и солоноватому запаху моря... Он закрыл глаза, нестройное пение стало постепенно удаляться, и снова закружились под теплым бризом легкие занавески, и женщина с ребенком на руках сидела у моря на желтом песке, и волны добегали к ее ногам ласковыми курчавыми щенками.

Глава 7

Крик был пронзительным и резким. Олег принял его за крик раненой птицы; он поднял голову, но вместо далекого морского неба увидел ажурную крону дерева.

– Не-е-ет! Пустите! Не хочу!

Девчонку держали двое, заломив ей руки за спину и уложив грудью на капот машины. На ней остались только трусики и кроссовки. Стриженный верзила ухмыльнулся:

– Заткните ей пасть! Не хочет она... Кто девочку ужинает, тот ее и танцует... – гоготнул. – Пониже наклоните, – и одним движением порвал трусики и сдернул их.

Отступил на шаг, лакомо облизал губы:

– Ну надо же краля, а, Сазон? Просто конфетка! «Резинка» у кого есть?

– Да ладно, Хыпа, зараза заразу не берет, – хрипло отозвался Сазон. – Начинай уже, очередь ждет!

– Не-е-е-ет!

Крик девчонки был пронзителен. Данилов выругался про себя, – дура, подобрали, видно, покататься, тогда зачем сядилась, зачем выпивала? Чего теперь орать? Он чуть привстал на локте, произнес:

– Ребятки, вы бы ласкою, что ли, а?

Хыпа обернулся:

– Че-го?

– По-моему, девочка не хочет.

– Ты чего, доходной? Лежи ветошью, понял? Пока мы добрые!

– А что, бываете злые?

– Че-го? – Хыпа оглянулся на Сазона. – Что это за петух драный, а, Сазон?

– Фильтруй базар, сявка! – резко ответил Олег. На секунду Хыпа смешался, окинул взглядом Данилова, но не заметил ни единой росписи.

– Понты гнешь, петушок? Ну ты допросился, сейчас Манькою станешь.

– Может, его к дереву прибить, Хыпа? Чтоб не отсвечивал? – подал голос второй подручный.

– Это дело, Мося. За базар отвечаешь?

– А то.

– Иди прибай. – Хыпа нехорошо прищурился, глянул на Подельника. – Помочь?

– Справлюсь.

Квадратноголовый Мося выпустил руку девчонки, заглянул в открытую дверцу машины, порылся в бардачке и секунду спустя уже шел к Данилову, неловко переваливаясь. В руке его был зажат молоток. В другой – гвоздь.

Данилов вздохнул несколько раз скоро и глубоко, медленно выдохнул, проямлил, стараясь выглядеть испуганным:

– Ребята, вы чего, я же шутил...

– Ты уже дошутился. И чего тебе не лежалось? – Мося

глядел пьяно, глумливо. Оскалился:

– Не бойся, я тебя не больно прибую.

Он подошел, стал напротив, замер, то ли примериваясь, то ли стараясь продлить предощущение чужой боли.

Олег смотрел в землю, постаравшись расслабить все мышцы. Начало движения он даже не почувствовал – ощутил. Молоток, описав короткий полукруг, несясь прямо в ключицу; Олег отклонился чуть назад, удар «провалился», Данилов легонько ткнул противника костяшками по запястью, рукоять выскользнула из руки, и молоток тяжело упал в песочную пыль. Удивиться своему промаху Мося не успел:

Данилов коротко ударил в точку над верхней губой, и противник, дернув головой, рухнул на месте как убитый.

– Пожелания? Аплодисменты? – натянуто улыбнулся Олег.

Хыпа побелел лицом и пущенным из катапульты камнем ринулся на Данилова. На короткий встречный удар он наорвался, как бык на оглоблю; Олег шагнул в сторону, и бесчувственное тело грузно рухнуло в пыль.

Сазон, короткими шажками обходивший Данилова справа, желая помочь жожаку, замер на месте, но отступать было поздно: убежать он бы уже не успел. Щелкнуло лезвие выкидного ножа, Сазон, наступая, отмахнул им раз, другой... Искра страха, какую Олег заметил в глазах парня, быстро истаяла, уступая место привычной уверенности. Сазон приблизился, сделал ложный выпад левой, ловко перехватил

нож обратным хватом и молниеносно нанес удар. Олег поймал руку на захват, рванул вверх, поставил локоть на излом; крик боли взорвал тишину;

Данилов коротко, без замаха, ударил Сазона в основание черепа, и тот затих.

Олег натянул джинсы, кроссовки, захлестнул шнурки и пошел к автомобилю.

Девчонка, щурясь, смотрела на него, а когда он подошел, взвизгнула вдруг:

– Не хочу! – и маханула рукой, как кошка лапой, целя ногтями по глазам.

Олег легко поймал руку, перехватил, одним движением развернул девчонку к себе спиной, толкнул к реке.

– Нет! – снова крикнула она, но поперхнулась от нового сильного толчка в спину и упала на песок.

Олег подхватил ее под живот, словно котенка, вошел в реку и опустил в по-весеннему холодную воду. Девчонка погрузилась с головой, вынырнула, хрипя и отплевываясь, Олег толкал ее снова и снова, пока она, испуганная, наглотававшаяся воды, не залепетала:

– Хватит, хватит, ну пожалуйста, не надо...

– Не надо – так не надо, – пожал плечами Олег и не оборачиваясь побрел к берегу. Подошел к машине и вдруг резко ударил в ветровое стекло, вложив в этот удар всю сдерживаемую даже во время драки ярость. Удар был столь силен и скор, что стекло не развалилось: кулак просто пробил в нем

дыру, от которой во все стороны заветвились паутинкой трещины.

– Эй... – Девчонка стояла по колено в воде, мокрая, замерзшая, неловко прикрывая ладошками низ живота...

И тут Олег словно впервые заметил и ее наготу, и то, как она хороша...

– Эй... Можно... можно я выйду уже? – попросила девчонка, клацая зубами.

– Выходи, – пожал плечами Олег.

Хмель, похоже, еще бродил тяжкими волнами в ее голове, но Олег заметил: взгляд заметно прояснился.

– А ты не будешь...

– Приставать?

– Да. И драться.

– Нет. На сегодня хватит.

Девочка, все так же прикрываясь руками, вышла на берег, хлюпая промокшими кроссовками, наклонилась за трусиками, произнесла озадаченно:

– Порваны...

Олег хотел было сказать ей что-то резкое и злое, но, встретив ее беспомощный взгляд, только пожал плечами:

– Стало быть, пикник не удался, – подумал, спросил, кивнув на лежащих пацанов:

– Дружбаны в претензии не будут?

– Да я их вообще не знаю! Да и... – Девушка, прикрываясь платицем, неожиданно выпрямилась, лицо ее скриви-

лось презрением, и она произнесла надменно:

– Замучаются претензии выставять! – потом бросила взгляд на лежащих парней, побелела:

– Ты их что, убил?

– Много чести. Отлежатся.

Девчонка посмотрела пристально на Олега, потом сказала тихо:

– А ты жестокий.

– Я справедливый.

– Плевать. Что пялишься, отвернись! – повелительно потребовала она тем же надменным тоном.

– Да пошла ты! – Данилов развернулся и быстро зашагал прочь. Идиот. Бить кому-то морды только затем, чтобы полупьяная девка его еще и «строила»! Идиот!

– Эй!

Олег услышал сзади хлопанье кроссовок.

– Извини. Я погорячилась.

Девушка уже была в коротеньком платье цвета неба, которое удивительно шло ей. Олег ощутил едва уловимый аромат незнакомых духов – он был тонким, изысканным, нездешним. И еще – Олег заметил, что и платье, и кроссовки – во все не китайский самопал.

– Ну что ты молчишь? Я же извинилась.

– О чем нам говорить, девочка?

– Меня зовут Даша.

– Красивое имя.

– Сказано таким тоном, что... Я не проститутка, понял?

– Как не понять.

– А к этим дегенератам в машину полезла, потому что...

Потому... Да вообще, что, я обязана тебе что-то объяснять?

– Объяснять будешь папе с мамой. Дома. Пока, девочка.

– Что ты грубишь?

– Манера такая. Да и вообще я неласковый.

– Ну и глупо. Наверное, ты одинокий.

– Возможно.

– Свободу бережешь?

– А что есть «свобода»?

– Ты не хочешь со мною разговаривать, да? – Даша схватила Олега за рукав.

– Ты меня что, презираешь? – В больших темных глазах девушки закипели слезы, губы скривились от совершенно детской обиды. – Скажи, презираешь?

– Нет.

– А почему тогда ты так со мной разговариваешь? Да, я нахамила тебе, но это от смущения.

– Да?

– Ну не от смущения, а... Просто противно жить, когда кругом одни слуги! А отец... Он...

– Знаешь, Даша, разбирайся с твоими проблемами сама. Ладно?

Девочка поникла, опустила голову, хлопнула носом, и крупные слезинки побежали по ее щекам.

– Все как всегда. Никому не нужны чужие проблемы. «Разбирайся сама...» Я еще не умею сама, понял? – Быстрым движением девчонка смахнула слезы, но они покатились снова. – Сама... Я подумала, ты другой. Ты сильный, а значит – добрый. А ты... Ты такой же, как все. Ты такой же, как мой отец. Тебе только до себя. Тогда зачем ты влезал во все?

Олег поморщился, вздохнул:

– Не реви.

– Я не реву. Они текут сами. – Даша остановилась вдруг, прислонилась к дереву, обняла ствол и заплакала горько-горько. Олег ее не утешал. Стресс. По глупости она залезла в авто к подонкам, ее унизили, и теперь ее реакция та же, что и у него, когда он крошил стекло ни в чем не повинному джипу. Хотя...

Может, она плачет и не о том, а о жизни... Жаль только, что этой совсем юной девчонке совсем некому выплакаться. Разве что дереву.

– Ну все, девочка, все. Все пройдет, все будет хорошо. – Олег сам не заметил, как оказался рядом. Он стоял и гладил Дашу по мокрым волосам.

Неожиданно она обернулась к нему, обняла и – заплакала пуще, уткнувшись в плечо, а он вдыхал аромат ее мокрых волос и ни о чем не думал.

Постепенно рыдания стихли, Даша лишь передыхала впол-вздоха. Сказала тихо:

– Ты извини. Не подумай, что я тебе навязываюсь. Просто мне не с кем поговорить. Вообще. Была подруга, но она... А отец... Нет, не хочу тебя загружать. Прости. Тебя как зовут?

– Олег.

– Меня Даша.

– Ты уже говорила.

– Я забыла. Ой, я и сумочку забыла.

– Там деньги?

– Мелочь. Там зеркальце. И косметичка. Я страшная сейчас, да?

– Нет.

– Да ладно, не ври. Когда я плачу, у меня нос краснеет. Самый кончик. И я похожа на клоуна.

– Ты похожа на заплаканную девчонку. Только и всего.

– Только и всего, – скорбно вздохнула Даша.

– Еще ты красивая.

– Правда?

– Да.

– Спасибо тебе.

– Не за что.

– Есть за что. Ты добрый. – Даша задумалась на секунду, добавила:

– И не слуга.

– Дались тебе эти слуги.

– Просто никто вокруг не говорит правды. Или врут, или льстят... И не потому, что я такая. Из-за отца. А он... Ему до

себя. И до своих дел. Всем не до меня.

– Не переживай. Образуется все.

– Ты еще скажи, «со временем».

– Нет. Не скажу. Со временем многое имеет тенденцию развиваться от плохого к худшему.

– Почему? – Даша смотрела на Олега, ее взгляд показался ему совершенно детским от беззащитности.

– Потому что одни люди – взрослеют, другие – стареют.

– Я знаю очень много молодых стариков. Они так и не были взрослыми. Просто из дурашливого детства попали сразу в мир, где вокруг одни цифры. Из денег. Но они даже на людей мало похожи. На доллары они похожи, вот что. Такие же серо-зеленые. И скучные. А по сути своей – те же слуги. И от них не услышать правды.

– О чем?

– О жизни.

– Кому нужна правда о жизни?

– А что же нужно?

– Иллюзия.

– Мир иллюзорен?

– Да. А жизнь... Жизнь проста: море, трава, солнце. Только и всего.

– Только и всего... – как эхо, повторила девушка. – Ты забыл о любви.

Олег кивнул, произнес тихо:

– Да. Я забыл о любви.

Даша взглянула на него быстро, покраснела:

– Извини. Я, наверное, что-то не то сказала.

– Ты сказала именно то. И прекрати бесконечно извиняться.

– Это я от смущения.

– Да?

– Просто... Таких, как ты, я еще не встречала. Ты кажешься... свободным.

Не в смысле, а... Ты понял?

– Да. Я понял. Вот только...

– Что «только»?

– Очень неприкаянная у меня вышла свобода.

– Такая бывает?

– Выходит, бывает.

Даша задумалась, собрав лоб морщинками:

– Вот странно... Я разговариваю с тобою так, словно давно тебя знаю. Очень давно. И, по-моему, ты тоже.

– Ничего странного. Это как в поезде.

– В поезде?

– Да. Мы попутчики. Сейчас доедем до назначенной станции и разбежимся.

Каждый по своим делам.

– Я так не хочу. Это не правильно.

– Так как раз и бывает. Когда люди не в отношениях, им нечего делить. И попутчики стараются понравиться друг другу вовсе не из корысти, а просто из совершенно людского,

неистребимого желания нравиться. Поэтому в пути все хорошо. А вот продолжение дорожного знакомства... Не знаю.

– Ты боишься разочарований?

– Уже не очень. Хотя... Боюсь. Вот только... У неприкаянной свободы есть одно преимущество: в ней не бывает разочарований.

– И очарований тоже?

Олег помолчал, произнес тихо:

– И очарований тоже.

– А вот это – действительно жаль.

Глава 8

Даша вздохнула, потом спросила сама себя удивленно:

– Я хочу тебе понравиться? – подумала, ответила сама себе:

– Да, хочу, – вздохнула. – Я вообще хочу кому-нибудь нравиться. Но что-то у меня это не очень выходит. Наверное, я не умею быть ласковой.

– Почему?

– Не научилась. А вообще – меня считают высокомерной.

– Это так?

– Наверное, да. Когда растешь принцессой...

– Принцессой?

– Почти. – Девушка смутилась, в глазах ее мелькнуло что-то вроде страха. – Я очень пить хочу.

– Скоро пойдет цивилизация.

– И наш поезд остановится?

– Да.

Девушка некоторое время смотрела прямо перед собой застывшим взглядом, потом сказала:

– Ты удивишься, но я никогда не ездила в поездах.

Некоторое время они топали молча. Подлесок кончился, пошли места обитаемые, протока стала широкой, а дальше на грязном песке навалом потели людские тела на хлипких разномастных подстилках.

– Это похоже на свалку, – поморщилась Даша. – Тут так грязно... А они чухаются в этой грязи и, похоже, рады.

– У людей вообще радостей немного.

Даша бросила на Олега быстрый взгляд, ответила:

– Но это не значит, что нужно вывалиться в канаве. Можно поехать за город.

– Если есть на чем.

– Да ладно тебе... строишь моралиста, а сам... Разложил этих дебилов, как засольщик воблу. Одному даже руку сломал.

– Может, оно к лучшему? Профессию поменяет.

– Из бандитов в налетчики? Знаешь, я передачу видела: там подраненные охотниками тигры становятся людоедами как раз потому, что крупная и сильная добыча им стала уже не по зубам. А из этого Сазона ни работяги, ни путного торговца точно не выйдет. Значит – будет малолеток грабить. Или наркотики у школ продавать.

– Какая разумная девочка... «Подраненный тигр». Это не тигр, это шакал. По жизни. И раненый он или целый – разница для падали небольшая. А что, было лучше его убить?

Даша замкнулась, насупилась.

– Так кто из нас морализирует?

– Олег, не придирайся к словам!

– А ты не умничай.

– Я просто еще пьяная.

– Угу. Очень выгодно. Если что-то натворила – «я еще

маленькая». Или – «когда я пьяная, я такая дурочка!».

– Ты злой.

– Скорее нетерпимый.

– Может быть, это еще хуже?

– Не хуже, но тоже не сахар.

– Для окружающих?

– И для себя тоже.

Даша помолчала, снова наморщила лоб:

– Станный ты.

– Я по жизни странник.

– Хм... Ты знаешь, аналог слова «странник» по-английски будет «stranger», – размышляя про себя, произнесла девушка. – «Чужой». Может, оттого ты такой?

– Чужой?

– Да. Всем этим потеющим индивидам. Иначе зачем бы тебя занесло загорать так далеко.

– Просто я отвек общаться.

– Просто ты отвек любить. В этом все дело. – Даша вздохнула. – Как и я.

– Вода.

– Что?

Олег остановился у переносного тента, под которым при-
мостилась толстая тетка; у ног ее громоздилось несколько
ящичков с бутылками.

– Ты какую предпочитаешь?

– Любую. Лишь бы холодная.

Истомленная скукой продавщица вынула из ящика пластиковую бутылку с минеральной, Олег свернул пробку, подал девушке:

– Не захлебнись.

Даша заглотала, торопясь, проливая пенящуюся газировку на платье.

– Теплая. Но все равно хорошо. Какой гадостью они меня напоили?

– Той, что ты пила.

Девушка погрузнела:

– Все могло бы закончиться скверно. Спасибо тебе. Слушай, Олег, а ты что, тренер какой-нибудь?

– Я похож на тренера?

– Совсем не похож. – Даша даже мотнула головой. – Тогда где ты научился так драться?

– Я никогда не учился драться.

– Ладно, ври... Не хочешь говорить?

Олег пожал плечами.

– А чем ты занимаешься? Вообще?

– Я журналист.

– Журналист? Снова врешь?

– Почему?

– Журналисты крикливые и наглые. Или, наоборот, важные и самовлюбленные. А ты – грустный.

– Грустный?

– Ну да. Словно... Словно ты потерял то, что никогда уже

вернуть нельзя, а забыть ты не можешь. Да и не хочешь.

– Погоди, Дарья. Не гони. Лучше ты мне объясни.

– Что?

Олег заметил, как девушка словно собралась внутренне, но все-таки спросил:

– Как ты попала в машину к этим дебилам?

– Ну... Сначала они мне вовсе не показались такими уж плохими. Просто отвязные ребята, прикольные. Правда, я чуть-чуть выпила...

– Наркотики?

– Да что я, совсем дура, что ли?

– Ты не дура. У тебя правильная речь, ты быстро думаешь, у тебя хорошее ассоциативное мышление, ты знаешь английский язык, на тебе кроссовки за двести баксов, которые ты таскаешь не на выход, а просто так, привычно, и платье долларов за восемьсот, из хорошего бутика, эдакий летний сарафанчик... – Олег заметил, что девушка даже покраснела под загаром. – Продолжить? У тебя в начале не самого жаркого в этом году лета стойкий оливковый загар, назовем его «нездешний», и притом ты никогда не ездила в поездах.

– Что ты привязался?!

– Только один вопрос: как ты оказалась в компании таких дурных и диких уродов, а? На «романтику дорог» ты купиться не могла, джип хиленький, как жеваный веник, да и братки в нем напрочь второсортные, разве что стрижка и бугры под кожей. Тебе и общий язык с ними еще нужно было отыс-

кать, в прямом смысле, безо всяких переносных. Судя по речи, ты со старшими привыкла общаться, и люди это образованные и не косноязычные. А Сазон с Хыпой сплошь «база-ром» изъясняются, да и тот у них «second hand», как кацавейка с чужого плеча. Как ты к ним в машину попала да еще и заехала неизвестно куда, а?

– Все? Допрос закончил?

– Ну... – неожиданно для самого себя смутился Олег и заметил, что в глазах Даши снова закипают слезинки.

– Какое у тебя на это право? Ведешь себя как свекор майский!

– Почему майский? – искренне удивился Олег.

– Не знаю. Нипочему. Мы далеко идем?

– К метро, – пожал плечами Олег.

Они снова шагали молча, теперь уже через парк. На встречу вереницей двигались люди. Шли быстро, желая успеть получить свою долю солнышка: страна, как ни кинь, северная: в мае еще бывает снег, в сентябре уже случается снег, а в июле могут стать заморозки на почве. Вперемешку с засухой и проливными дождями. Как говорится, лето у нас короткое, зато холодное. Данилов вспомнил сон и искренне пожалел, что его разбудили. Хотя... Снами от жизни не укроешься.

А что жизнь? Все то же: люди алчны, завистливы, себялюбивы, агрессивны, заносчивы, наглы, самоуверенны, маловерны... Олег поморщился: что это его повело? Ну точно,

свекор майский.

– Ты обиделся? – бросив на него взгляд, спросила Даша.

– Угу. На себя.

– С чего?

– Свою жизнь лесом, пикником или пустошью каждый делает сам.

– А вот и не так! Бывает, живешь, как в клетке, и вырваться из нее не можешь!

– Сегодня ты пыталась вырваться из клетки?

– Может быть.

Данилов вздохнул. Девчонка права. Клетка. И не важно, из чего эта клетка – из событий, обстоятельств, безденежья или, наоборот, безмерного богатства в мире нищих... Из собственных комплексов, иллюзий или самообманов... А важно то, что, вырвавшись из одной, человек попадает в другую, и тот вольер молодняка, что из тесноты хрущобки виделся раем, оказывается лишь склочной тараканьей коммуналкой в общественном зверинце.

Хотя... Все это мудрствования от лукавого. На поверку клетка из железных прутьев куда хуже той, что человек строит себе сам: в своей он хоть как-то чувствует себя защищенным от мира. А заключенный... Мир пытается защититься от нарушившего его установления человека и не вызывает в нем никаких чувств, кроме горькой обиды и желания отомстить за жестокость. А месть в мире людей считается справедливостью. Библейское: «Мне отмщение и Аз воздам» –

никого не утешает. И героем остается самозванный граф Монте-Кристо, и даже богатство не делает его в сознании людей хуже.

Асфальтированная дорожка вывела на широкую площадку. Слева был летний ресторан с тонированными стеклами и широкой террасой. Дорогие автомобили проезжали, бесцеремонно притирая пешеходов к обочинам. Из приоткрытых окон неся грохот могучих стереосистем. Так они пропустили одну машину, другую...

Опасность Олег почувствовал как тревогу, скорую и острую. Но предпринять ничего не успел. Машина, тащившаяся едва-едва в потоке колеблющегося миража над мягким разогретым асфальтом, вдруг стала, обе дверцы синхронно распахнулись, оттуда показались фигуры мужчин, две пары сильных рук схватили девушку, и она исчезла в затененном дымчатыми стеклами салоне. Данилов рванулся за ней, но его движение по чьей-то воле перешло в падение, он крепко ударился надбровьем о бетонную бровку тротуара, попытался дернуться, но оказался жестко блокирован болевым захватом. Кто-то сильный и умелый держал его так, что Олег не мог даже пошевелиться.

Автомобиль проехал чуть вперед; из-за ресторанчика выкатил длинный лимузин, Олег, заметил: мелькнуло синее платье – это Дашу пересадили в представительскую машину, и та медленно, разрезая поредевшую толпу отдыхающих, как раскаленный нож, двинулась прочь. А тот, первый авто-

мобиль, подал назад, остановился рядом с Олегом, дверца раскрылась.

– Твое счастье, что все так закончилось. Принцесса сказала, ты хороший. – Голос был вполне доброжелателен и чуть насмешлив. – Она девчонка взбалмошная, но странная: никогда не врет. – Голос скомандовал конвоиру:

– Слава, отпусти его, – потом снова обратился к Олегу:

– Извини, что слегка поцарапали.

Издержки.

Из приоткрытой дверцы на асфальт вылетела свернутая в трубочку зеленая купюра.

– Без обид?

Олег только усмехнулся криво, сделал вид, что разводит руками, и жестко, с разворота воткнул локоть правой в пень продолжавшему стоять сзади охраннику.

Услышал, как тот рухнул на колени, но добавлять не стал, только сказал в безликое чрево машины:

– Да какие могут быть обиды? Все путем.

– А ты резкий.

– Какой есть. Кто вы?

– Ну ты спросил.

– А Даша – кто?

– Для тебя – никто. Прохожая.

– Мир не изменился.

– Именно. Добрые дела в нем наказуемы. – Человек в салоне помолчал, добавил:

– Это принцип. – Пауза длилась несколько секунд, потом человек скомандовал охраннику:

– Славик, давай в машину. Продолжения не будет.

Крепкий белобрысый парень бросил на Данилова цепкий взгляд и, морщась и зажимая правый бок, забрался на переднее сиденье. Дверцы захлопнулись, автомобиль тронул с места и плавно зашуршал вверх, через мостик, следом за уже скрывшимся лимузином. Вскоре он исчез, и колеблющееся жаркое марево над дорогой навевало мысли о том, что все это был сон. Или – мираж.

Мир вдруг померк. Олег увидел перед собой толстые стволы нездешних деревьев, ощутил сладковатый запах вольно цветущих нездешних цветов, увидел русоволосую девчонку, и тут – все заволело черным, боль в виске затопила окружающее, запульсировала оранжевым...

А потом все исчезло. Олег стоял на мостике, нелепо озираясь, мокрый от пота.

– "Девчонка, просто прохожая, как мы теперь далеки..." – напел он тихо.

Огляделся. Вокруг все то же. Лето. Солнце. Люди. Разогретый асфальт.

Скрученную бумажку воздушной волной прибило к бордюру. Данилов наклонился, развернул. Толстощекий Франклин сиял ему с купюры необъяснимо-загадочной улыбкой Леонардовой Джоконды.

– Сто долларов – это всегда сто долларов, – тихо произнес

Данилов, помолчал, усмехнулся, но очень невесело:

– Добрые дела наказуемы. Мир не изменился.

Глава 9

...Сигареты закончились. За окном вечерело, и оттого, что окно выходило на стену, казалось совсем темно. Пожалуй, незнакомец был прав. Нужно выбираться отсюда. Да и... Вполне может быть, горечь и раздражение сыграли с ним шутку, и цепь сегодняшних и вчерашних случайностей он принял за заговор... Не много ли чести?

Олег пошел домой. Вернее, в то жилище, что было пока его Домом.

Там все оставалось покойным и мирным. Данилов закрыл глаза перед входной дверью, пытаясь расслабиться и – почувствовать опасность. Ничего не вышло. Или тревога сделалась привычной, или он просто устал от воспоминаний и перестал обращать внимание на настоящее. Так бывает: грезы часто реальнее жизни. А еще он вспомнил кошку Катю. Которая – сама по себе. Ему хотелось, чтобы кошка осталась. В пустой дом возвращаться было совсем тошно.

Света Данилов зажигать не стал. Заварил чаю в огромной кружке, сел в кресло, закурил. Телефон зазвонил резко, но разговаривать ни с кем Олегу совершенно не хотелось. Да он и не смог бы.

Ну да: вчера утром тоже звонил телефон. Как в хорошей детской сказке: «У меня зазвонил телефон...» Неприятности начались потом. Может быть, потому, что Данилов не оце-

нил важности всего, что произошло прошлым утром, еще до того, как он легкомысленно ушел загорать?..

«...У меня зазвонил телефон...» Тяжелый черный аппарат, ровесник борьбы с космополитами, заверещал полуисправным звонком в четверть девятого, разнося по пустой квартире ритм не пойми какого дня. Олег, путаясь в верблюжьем пледе, кое-как прошлепал ногами по грязному полу, наколол ногу о какой-то бесхозный гвоздь, ошалело пошарил взглядом по полу, пытаясь найти источник звука: телефон, даром что ветеран и пенсионер, был на длиннющем шнурке, и в какой из комнат и под каким хламом он сейчас надрывался звонками, было неведомо.

Остатки сна быстро переросли в раздражение: какого черта он не выдернул вчера провод из розетки? Данилов наконец заметил аппарат под баннным полотенцем, схватил трубку и совсем неприветливо гаркнул хриплым со сна баритоном:

– Да!

– Данилов?

– Он самый.

Олег узнал голос секретарши шефа Лилианы Николаевны Блудилиной. Это была рослая блондинка столь пышных и монументальных форм, что при виде ее у Олега всегда возникала мысль про горящую избу и шального скакуна, мчащегося неведь куда только затем, чтобы его остановила бесшаровая женская длань. И еще – Лилиана напоминала ему

монумент то ли Победы, то ли Матери-родины, громогласный на высоком берегу Борисфена с зажатым в железобетонной кисти мечом.

А впрочем... Каждый ребенок растет с определенным созвучием в душе – созвучием собственного имени. Кто папу этой секс-дивы по фамилии Блудилин надоумил наречь родное чадо Лилианой – покрытая мраком тайна, а только девушка росла-росла и выросла – эдакой «гордостью стада»: кроме одиозных форм, от которых тихо шалел низенький пузатый Фокий Лукич Бокун, он же – шеф, Лилиана имела полное «отсутствие наличия». То есть, кроме томного взгляда с поволокой и искреннего презрения ко всему, что меньше и тщедушнее, Лилиана была тупа. Тупа абсолютно, надежно и бесперспективно. Что и позволяло ей выполнять указания Фокия Лукича со рвением и без фантазий. Это при том, что еще она была мстительна, судачлива, по-мелкому склочна и хитра той непросчитываемой крестьянской хитростью, что так часто граничит с подлостью.

– Это Блудилина, – услышал Олег ее высокое, чувственное сопрано.

– Милейшая Лилиана, вас трудно не узнать.

– Прекратите паясничать, Данилов, – поставила его на место Блудилина.

– Я и не думал паясничать. Это было бы почти святотатством.

– Вы в своем репертуаре, Данилов.

– Каждый из людей «в своем репертуаре». Как только он пытается сыграть чужую партитуру, его ждет фиаско.

Черная эбонитовая трубка разразилась тяготящей паузой. Молодая тиранша на том конце провода, по-видимому, мучительно размышляла: это выпад в ее адрес «или как»? И нужно ли этого умника снова ставить на место, на этот раз со всей «беспощадной геволуционной суговостью»? Впрочем, Лилиана, закончившая одиннадцатилетку три года тому и усилившая два курса педучилища, вряд ли постигла к своим субтильным двадцати с небольшим ленинскую премудрость; Данилов не был даже уверен, что она знает имя и отчество смещенного уже десяток лет со всех гранитных подножий вождя мирового пролетариата. А слово «фиаско» она вполне могла принять за иноземную нецензурщину.

«Ставить на место» было исключительной прерогативой и любимым действием Лилианы Николаевны Блудилиной: ее истосковавшаяся на вторых ролях в родительской семье и сельской школе натура оживала разом, и сонная дама вдруг находила такие слова и подбирала такие выражения, что люди со степенями по труднопроизносимым наукам бледнели, краснели и в дальнейшем взирали на это диво плоти и чудо природы, на это ходячее «молоко со сливками» с трепетным благоговением: так вон он какой, простой народ, незатейливый и задушевно здоровый! Так что по-своему Лилиана была и не глупа: умела произвести впечатление.

– Не умничайте, – наконец ожила трубка. – Все знают, ка-

кой вы пустозвон.

– Я тоже люблю вас, дорогая.

– Пустозвон. И – пустоцвет.

– Угу. Одуванчик. Солнечный, умный и красивый.

– Как мерин сивый.

– Любопытное сравнение. Народная мудрость?

– Некоторые считают себя умнее всех, а корректоры намучились уже ваши ошибки исправлять.

– Мы с Тургеневым никогда не отличались излишней грамотностью.

– Сравнил тоже... Кота с бахромой...

– ...и пса с рукомойником.

– Чего?

– Это тоже мудрость. Я ее превзойду, и имя мое прогрессирует. Я полон замыслов. И в расцвете сил.

– Жаль, что не средств.

– Средства – дело наживное.

– Только не для таких, как вы.

– В самом деле?

– Умный он... Умные в ваши годы на «мерседесах» ездят.

– Милейшая Лилиана, по-моему, вы ко мне равнодушны.

– Я вам не милейшая.

– Тогда – красивейшая, умнейшая, эффектнейшая...

– Вам же сказали – прекратите паясничать!

– Я не паясничаю: стараюсь «навести мосты».

– Чего?

– Я хочу вам понравиться, дорогая.

– Я вам не...

– Понял. Не дорогая.

Трубка снова замолчала, потом Данилов услышал:

– Вы злой.

– Я добрый. Просто у меня не было случая проявить лучшие качества. Суета, знаете ли.

– Ничего, скоро жизнь у вас будет достаточно покойной.

– Звучит фатально. Признайтесь, вы меня уже «заказали», Лилиана? По дружбе? За бутылек портвейна?

– Вот-вот. Большого вы не стоите. Паяц.

– Так мне смеяться или плакать?

– Вас вызывают Фокий Лукич, – сказала Лилиана таким торжественным голосом, словно та стюардесса из анекдота: «Борт нашего лайнера посетил сам Господь Бог».

– Фокий Лукич? Вызывают? – произнес Олег с издевательской интонацией. – Я пропал.

– Зря веселитесь.

– Big Boss мною недоволен?

– Это, Данилов, слишком мягкое словцо. Он взбешен.

– Вы меня убедили, Лилиана. Трепещу. И готовлюсь. Розгу захватить?

– Подонок! Я не удивлюсь, что это вы распространяете о Фокий Лукиче те грязные сплетни, которые... – проорала Лилиана внезапным нервным дискантом и смолкла.

Данилов смешался: невинное замечание вызвало совершенно неадекватную реакцию. То, что Фокий Лукич в «неформальных» отношениях с секретаршей, Олег считал как раз нормальным и естественным. И даже обязательным. У секретарш в таких случаях появлялось чувство собственности и здоровой ревности по отношению к боссу, что и помогало им выполнять самую главную свою обязанность: строить посетителей. Человек должен вдоволь насидеться перед обитой толстым дерматином старорежимной дверью при безразличном высокомерии полногрудой дивы, почувствовать себя в этом кабинете никчемным, неуместным и жалким со всеми своими мыслями о жизни и смерти, о теще и борще, о политике, экономике, энтропии, генезисе и катарсисе... Он должен ощутить себя ненужным этой жизни...

Вот тогда – «клиент созрел», и что бы ни ожидало его за бронированным равнодушием приемной, – разнос или начальственная ласка, – и то и другое будет принято выдержанным до кондиции посетителем, как монаршая милость!

Но то, что баловник Фокий Лукич был хотя и тайным, но старательным поклонником Захер-Мазоха, Данилов действительно не знал: в редакции Олег появлялся редко, сдавал материал, получал деньги и ни в какие редакционные дразги и пересуды не вдавался, за что его почитали высокомерным. Попал «в яблочко» он совершенно случайно. Но отчего это так взбесило невозмутимую, как ледокол на экваторе, Лилиану? По нынешним временам сексотерпимости, когда

даже гомосексуализм считается вариантом нормы? Воспитание. Здоровый сельский оптимизм: баба должна лежать на спине и поохивать, все остальное – от лукавого.

Да и удовлетворения от шустрика Фокия, надо полагать, никакого: комплексы не способствуют.

– Мне больше нечего вам сказать, – стылым голосом сообщила Лилиана. – Фокий Лукич ждет вас через час.

– Лилиана, помилуйте! Мне нужно принять ва-а-ану, выпить чашечку ко-о-офэ...

– Вы доигрались, Данилов. Скоро у вас не будет на кофе денег. Вы уволены.

– Уже?

– Еще! И вы даже не отдаете себе отчет в том, что больше вас ни в одно приличное место в этом городе не возьмут. Фокий Лукич позаботится.

– Придется работать в неприличном. Как насчет парламента?

– А я, в свою очередь, позабочусь, чтобы вас не взяли вообще никуда! Даже вышибалой! Впрочем, вас, кажется, уже вышибли из органов?

Слово «органы» Лилиана произнесла с почтительным придыханием.

– Не то чтобы вышибли и не то чтобы из органов... К тому же вы же знаете, Москва – город контрастов.

– То-то вас турнули из вашей Москвы, как шелудивого таракана! Княжинск – не Москва, здесь таких не любят!

– Таких нигде не любят.

Лилиана смешалась на минуту, видимо переваривая последнюю фразу. Не нашлась, констатировала:

– Вот именно. И не надейтесь, что вас отправят «по собственному».

– И что мне инкриминируют? Моральное разложение? Половую распущенность?

– Негодяй!

– Значит – политическую близорукость.

– Умничать будете, вычищая общественные сортиры! Вам там самое место!

– Если бы каждый знал, где ему место.

– Хотите меня оскорбить?

– Философствую.

– Я вижу, вы приуныли? – злорадно поинтересовалась Лилиана.

– Перспектива возни с дерьмом никого не обрадует. Впрочем, его там не больше, чем везде.

– Вот и проверишь опытом, козел!

Трубка запела коротенькими гудками. Преимущество телефона: последнее слово остается за тем, кто наглее. Впрочем, Олег давно перестал реагировать на такое вот ставшее привычным хамство: в джунглях, именуемых обществом, каких только тварей не водится. И все – божьи. Если не обнаружится обратное.

Глава 10

Первое, что делает «совок», заработав какие-то деньги, – начинает толстеть. Как тесто на дрожжах. Как правило, все, кроме кучки избранных, были лишены в детстве и юности «вкусной и здоровой» пищи; изобилие имелось на цветных иллюстрациях микояновских поваренных книг, и юные отпрыски рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции, глотая слюни, любовались картинной сервировкой и – мечтали. Мечта советских беспризорников из «Республики ШКИД» – «нажраться от пуза» – так и осталась при разгуле демократии трепетной грезой большинства российских обывателей и их товарищей по несчастью из стран ближнего зарубежья; те же, что выбились из-под пяты парткомов, ЖЭКов и ново-явленного «свободного рынка» – начали жрать. Много, часто и жирно.

Фокий Лукич Бокун исключением не был. А потому после пятидесяти стал тучен, тяжел и одутловат. Да и советская еще карьера не способствовала поджарости: один средний начальственный стул сменялся другим, а промежутки между заседаниями заполнялись неумеренными возлияниями «в кругу товарищей», угарной веселухой, сопением с какой-нибудь из обкомовских профурсеток на продавленном топчане в полулюксе районной обжорки или гостинички...

Комсомольско-секретарская юность на корчагинскую по-

ходила мало и так и промелькнула тупым тоскливым морозом, оставив по себе язву поджелудочной и послепохмельный желчный привкус. А по достижении тридцати с солидным гаком Фокий Лукич двинул в сторону идеологии, возглавил многотиражку оборонного завода «Коммунар» и сделался совсем доволен собой и жизнью. Полторы пятилетки и перестройка на одной должности – это стаж.

Самостийность грянула как гром с неба. Еще года четыре Фокий Лукич не смел поверить, что система рухнула навсегда; по правде сказать, не верил и теперь: партбилет, аккуратно завернутый в махровую тряпицу и бережно уложенный в металлическую коробочку из-под сигар, хранился дома в специальной нише под паркетом вместе с тугими пачками американских долларов. Но это так, на черный день. Основной капитал Фокий Лукич хранил, как все, в Швейцарии.

Его нерешительность во время всеобщего национал-демократического угара чуть не стоила ему карьеры и благосостояния. Когда первые крикуны вдруг стали в Княжинске и в стране первыми лицами и взялись хапать все, что не прикручено и не приварено, он даже поначалу злорадствовал втихую и ждал, когда придут наши и наведут должный порядок. Но «наши» запаздывали. Вернее, они, как и сам Фокий Лукич, стремительно затаились; в их истомленных аппаратными интригами мозгах зрели планы отмщения, а в истомленных завистью душах – желчь и яд.

Вот тогда Фокию Лукичу и повезло присоединиться к бу-

дущим победителям. Не по расчету и не по уму – по нужде. Газета «Коммунар» к тому времени тихо сдохла, Фокия новоявленные администранты перебросили возглавить листок «Княжинские вести», но был он там фигурой временной, чего не скрывали ни сотрудники, ни начальство. Тогда Фокий затосковал крепко: делать он не умел ничего начисто, только руководить. Даже бывшие технари с завода худо-бедно, а пристроились: завод развалился на два десятка акционерных обществ, но производил то же, что производил раньше, вот только никакая прибыль до работяг не доходила: оседала в тех самых АО жирной плесенью. Инженеры, на которых раньше Фокий, как идеолог, смотрел свысока, теперь раскатывали на дорогих иномарках, селились в просторных квартирах в новых, прекрасно спланированных домах, ездили за границу и хороводились с молодыми давалками, а он жевал свой горький кусок и ждал, когда выпрут.

Вот тут и накатила предвыборная. Два молодых энергичных перевыборца убеждали Фокия в его кабинете с помощью пяти бутылок дорогого коньяка часа четыре; он пил, но не хмелел: виною был страх. «Гарант благосостояния», бывший в те поры президентом, улыбался с плакатов непознанной улыбкой секретаря ЦК, его же соперник, побывший с месячишко премьером, смотрелся рядом совсем неавторитетно. Самодовольная улыбка «гаранта» обещала приближенным все блага, о которых можно было мечтать, но Фокия с этого корабля уже выпихнули. Выбирать было не из чего. И

после того, как энергичная молодежь доставила его домой в состоянии, близком к клинической смерти, пришло решение: будь что будет.

Уже наутро он понял, что решение было насквозь порочным, и искренне испугался вчерашнего. Бокун вспомнил и о вездесущей службе безопасности, и о безвременных смертях некоторых чиновных: кончины их были почти естественными, но среди оставшихся не при делах аппаратных людей бродили слухи: смутные, потные, упорные... Но было поздно. И тогда Фокий Лукич со страху запил вчерную.

Благо деньги теперь были. Молодые люди ежеутренне завозили в редакцию готовые статьи, Бокун, не приходя в сознание, визировал их и продолжал пить.

Последствий он ждал со дня на день. И когда его вызвал предрайисполкома, по-новому, глава муниципальной администрации, он ждал чего угодно – разнosa, увольнения, ареста... А его начали эдак по-товарищески журить... Тот «предрай» был шишкой вяленой и ученой: президенты приходят и уходят, аппарат остается.

Вот именно тогда Фокий догадался: за новым кандидатом с застенчивой улыбкой только что переученного из инженеров комсомольца тоже стоит сила, и сила не меньшая, чем за «гарантом благосостояния и прогресса». Фонды газете урезали напрочь, ну и пес с ними: теперь к Бокуну текли денежным ручейком зеленые купюры, а это бодрило. И снять Фокия Лукича никто не посмел.

Ну а когда на съезде сторонников «Возрождения и труда», противоборствующих с движением «Благосостояния и прогресса», Фокий Лукич увидел тех самых сидельцев «второго эшелона», а вместе с ними закусивших удила молодых честолюбцев и тихой тенью скользивших по паркетам холла мозелевичей, рабиновичей и прочих гершензонов, то взбодрился духом окончательно, понял, что в Сибирь его точно не законопатят – во-первых, Сибирь осталась в другом государстве, а во-вторых, никто не станет мочить своих! Он взбодрился и взорлился настолько, что даже выискал по собственной инициативе пару отвязанных, больных на всю голову борзописцев и взялся делать то, чего раньше в мыслях представить себе не мог: клеймить! Власть! Нет, понятно, не самого «гаранта», этого себе никто не позволял, но отдельные недостатки в отдельных отраслях, городах и весях его ошалелые писакки громили от души, словно распоясавшиеся мастеровые – лавчонки в дореволюционной Одессе. Получалось складно и скандально. Денег заметно прибавилось.

И все же победы нового претендента не ожидал никто. После первого тура, когда ободренные честолюбцы борзыми конями гасали по всей державке, соблазняя чемоданами «зелени» нестойких и алчных глав администраций западных областей, Фокий снова запил. Он пересчитывал доставшиеся ему сребреники и понимал: придется ответить, придется. Ему хотелось исчезнуть, испариться, скрутиться сухим гераниевым листом где-нибудь в гербарии ботанического музея,

куда ни одна живая душа не заглянет столетия полтора...

Но все муки рано или поздно кончаются. Или так, или эдак. В предвыборный штаб претендента Фокия Лукича привезли в лоскуты пьяным те самые молодые борзописцы. Часа три Бокун функционировал, словно кукла-неваляшка, ничего не понимая в происходящем, но и не падая мертвецки пьяным лишь потому что невероятную дозу алкоголя выжигало досуха каленое железо страха. И когда к трем часа пополудни стало ясно, что выиграна и битва, и война, Фокий Лукич забился в пароксизме восторженного отходняка, обслюнявил вгорячах ползала корреспондентов и залил слезами и неожиданно хлынувшей носом кровью белую сорочку. Наблюдавшие за действием порыв оценили, распознав в Бокуне не временного попутчика, а искреннего и верного сторонника. Это подтверждал и послужной список.

Нужно сказать, не все индивиды, от души принявшие идеалы «Возрождения и труда» и напрочь отвергнувшие «Благосостояние и прогресс» и положившие на алтарь предвыборной баталии кто – деньги, кто – энергию, получили должное.

Лозунг: «Народу по мякишу, своим – по горбушке» сработал с четкостью буйка трехлинейки: уже через две-три недели братаний и крестоцелования новый «гарант возрождения и труда» огородился в президентском дворце несокрушимой стеной аппарата.

Но Бокун был хитер и терт, он и не ломился в запертые

двери. Он чинно и покойно, как свой, шествовал по ковровым дорожкам вовсе не президентских – правительственных апартаментов, и в результате оказался в кресле замминистра.

На посту он пробыл что-то около трех месяцев, пока все не устаканилось окончательно, а после также чинно вернулся в родную газету, ставшую холдингом и получившую беспроцентный, бессрочный и безвозвратный кредит от щедрот новокоронованного монарха и его присных. Ну а поскольку Фокий Лукич вел себя правильно, ему доверили не только возглавить новоявленное детище в кругу свободных и независимых mass media, но и стать одним из главных владельцев.

Имена остальных акционеров хранились в тайне, но непроницаемой она была лишь для нелюбопытных попрошайек-промокашек, залетных корреспондентов и авторов мажорных заметок о безвременных чудо-всходах озимого картофеля и массовой гибели зловерного долгоносика, занесенного на самотийные поля имперскими амбициями Москвы.

Все это Данилов вспоминал теперь, шествуя по коридорам издательского холдинга. Ежедневная газета, вечерняя газета, еженедельник, таблоиды, четыре иллюстрированных журнала. Фокию Лукичу Бокуну было отчего плыть телом и млеть душой: редактор он был никакой, а вот организатор в здешнем кастрированном на все члены и оттого таком странном бизнесе – очень даже успешный. Ну а качество прессы опре-

делялось высотой гонораров: в изданиях Бокуна сотрудничали самые блестящие журналисты Княжинска. Свита делала короля, а король тащился травленным удавом под крепкой дланью пустоглазой девки Блудилиной. Такова жизнь.

Собственно, узнав априори о собственном увольнении, Олег мог бы и не появляться у Бокуна, но искренне считал это неспортивным. Чтобы иметь шанс на будущее, человек должен быть отважен во всем. И особенно в вещах ему неприятных и непонятных: как иначе он может рассчитать следующий ход? Или хотя бы сынтуичить собственное положение на доске, именуемой жизнью? Про-счи-тать.

Если, конечно, тебя не просчитали загодя и не решили сыграть втемную.

Отчаиваться от этого нечего, а вот иметь в виду следует.

В громадном, устеленном дорожным персидским ковром секретарском холле, который просто язык не поворачивался назвать предбанником, восседала мрамороподобной Минервой Либиана Блудилина. Данилов отвесил страждущим свидания с заоблачным владыкой шелкоперских судеб и гонораров общий поклон и двинулся к дверям в кабинет. Либиана дернулась было тугим телом, но осталась сидеть. На лице ее жгучим румянцем пылала ненависть.

Олег шел стремительно, а исходящая от него сила словно давала ему право поступать так, как он желал и считал нужным. Его никогда не останавливали вахтеры, потому что просто не догадывались это сделать. И – не смели.

Глава 11

– Вам известно, отчего я хотел вас видеть? – Фокий Лукич сидел в дорожном кресле «президент» и смотрел на Данилова, как барсук из норы. Галстук «Версаче» лежал на круглом животе, словно меридиан на глобусе. Планета «Бокун» плавала в неге покоя и жира, и только брыли щек слегка колыхались в такт произносимым словам да мутные глазки того неопределенного цвета, что называют «грязь с молоком», умно и настороженно стерегли движения визитера.

Олег без приглашения сел на стул, вынул сигареты, вжикнул колесиком зажигалки, вольготно откинулся на спинку, выпустил дым, произнес:

– Милая Лиана меня информировала. В свойственной ей манере.

Бокун поморщился:

– К сожалению, Лиле порой не хватает такта.

– Именно потому она вам и нужна.

– Да, замены ей нет. Пока. – Бокун пожевал губами. – Вы догадываетесь о причинах э-э-э... нашего грядущего расставания?

– Не вполне.

– Но какие-то мысли у вас есть?

– Чего-чего, а мыслей у меня всегда с избытком.

– Не ерничайте, Данилов. Вы не в том положении.

– Бросьте, Фокий Лукич. Это вы – в положении. – Олег улыбнулся. – В общественном и социальном. И оно порой еще более неудобно, чем беременность.

Нет?

– Хм.

– Кроме приобретенных прав, у вас еще и целый набор никчемных обязанностей. И очень значимых обязательств. Как в любой партячейке.

– При чем здесь партячейка?

– Это я для образности. И давайте закончим преамбулу.

– Преамбулу?

– Вот именно. Вы ведь пригласили меня зачем-то? Версия первая: объявить об увольнении. Позлорадствовать. Распечь эдак по-начальнически, добиться если не покаяния, то хотя бы «поставить на место» – любимое занятие мадемуазель Блудилиной, кстати. Любой богатый человек вряд ли станет тратить на это время.

Но все мы люди и живем эмоциями, если не способны на страсть. Так почему бы не позволить себе пережить такую приятную процедуру: вытурить сотрудника? Мелкая победа или то, что ею кажется, не умаляет самой власти и позволяет почувствовать ее сладость. Пусть приторную, а все же лучше, чем никакую.

Впрочем... У меня есть еще пара версий ваших мотиваций сегодняшнего randevu, но зачем вас утомлять мудрствованием и злоупотреблять своим временем? День уж больно

жаркий. Я хочу сегодня позагорать.

– Хорошо, Олег Владимирович. Вы сами сказали об обязательствах. Начав сотрудничать с нашим холдингом, вы тоже взяли на себя э-э-э... определенные обязательства.

– Это так. И отлично их выполнял.

– Звучит хотя и нескромно...

– Скромность украшает только тех, кто других достоинств не имеет.

– Мы были вами довольны, пока...

– ...пока я писал обзорные статьи о российской экономике и не задевал местечковые кланы и их копеечные интересы.

– Это не местечковые кланы, – повысил голос Бокун, и полное лицо его пошло пятнами. – И интересы, смею вас заверить, далеко не копеечные.

– Да? И кого из здешних олигархов я «поставил на бабки»?

– Ваша ирония неуместна, и вы это сами прекрасно осознаете, Олег Владимирович. Ваша статья в «Зерцале»...

– ...вам понравилась.

Бокун поднес ладони к лицу, провел ими по щекам, вздохнул:

– С вами очень трудно разговаривать.

– Я вам больше скажу, Фокий Лукич, со мною даже рядом находиться непросто.

Особенно таким, как вы.

– Вот как? И почему?

– Я свободен. В истинно русском понимании этого слова. Волен думать и поступать именно так, как хочу и считаю нужным.

– Все люди грешат тем, что оч-ч-чень заблуждаются относительно степени своей свободы. Часто она измеряется даже не толщиной кошелька, а возможностью распоряжаться по своему усмотрению тем, что в нем находится. А у вас... У вас и кошелек тощий, как подвальный кот, и иные возможности скромные. Или я заблуждаюсь?

Олег на секунду задумался:

– Можно сформулировать иначе: вы желаете выяснить, заказали ли мне эту статью? И если заказали, то кто?

– Ну что ж... Вы отличаетесь скорым умом.

– Знаете, в чем ваша беда, Фокий Лукич?

– Нет. Вы поясните?

– Вся ваша беда в том, что я скажу вам сейчас чистую правду, но вы мне не поверите.

– Да?

– У вас иной стереотип мышления.

– Может, это и хорошо? И я могу взглянуть на проблему под другим углом зрения?

– Ваш «угол зрения» определяется даже не количеством обретенной «зелени», а благосклонным кивком тех, у кого вы на «поводке».

– Вы заносчивы и наглы, Данилов.

– Я независим.

– Я вам уже говорил, что любая независимость мнима. И приложу все усилия, чтобы вам это доказать. Вам не кажется, Данилов, что сейчас вы наживаете себе врага? Не самого добродушного, смею вас заверить... Не боитесь? Зачем вам такой враг?

– Нет, не боюсь. У вас нет врагов, господин Бокун. Как и друзей. У вас есть только интересы. В политике, в бизнесе, в окол властной тусовке...

Интересы. Они текучи и непостоянны, а тратить время и силы на борьбу с людьми, что вас эмоционально задела, вы не станете. У вас иной стереотип поведения.

Нет, конечно, вы можете позволить себе роскошь раздавить мелочь мелкую, человеческую козявку... Но я ведь не козявка, Фокий Лукич, и вы это прекрасно понимаете. А наживать себе врага... Зачем вам такой враг?

Лицо Бокунa если и сделалось растерянным, то лишь на долю секунды.

Буквально сразу за тем оно налилось краской и стало похожим на только что сваренный свекольник, разве что паром не исходило!

– Ты... ты... мне... угрожаешь?

– Боже упаси. Просто проигрываю варианты.

– А не боишься доиграться?

– Нет.

– Правильно не боишься! Ты уже доигрался, понял?! Уже!

Олег крякнул досадливо:

– Ну вот... А ведь так складно беседовали.

– Складно? Ты, сучий выползок, подставил меня! Меня!

Кто тебя надоумил сочинить опус для этого гнилого брехунка?

– Никто.

– Тебе придется сказать, Данилов. Ты прав, здесь вовсе не личное. Здесь интересы! Такие крутые интересы, о которых ты даже не догадываешься! – Бокун замолчал на полминуты, добавил тоном ниже, почти прохрипел, а в голосе его слышались нескрываемые ненависть и страх:

– Ну а если догадываешься, то тем хуже. Для тебя.

– Ой, боюсь, боюсь, боюсь... – скривившись в усмешке, запричитал Олег. – Я коньячку выпью? Для восстановления душевного подъема?

– Я не собираюсь тебя тут потчевать, Данилов.

– Да у меня с собой. – Не дожидаясь приглашения, Олег одним движением достал из сумки плоскую фляжку «Мартеля», открутил пробку. – К тому же хочу закрепить сложившиеся между нами теплые доверительные отношения и переход на «ты». Тебе, Фокий, в карандашницу плеснуть или из горла будешь?

– Прекратите паясничать!

– Хозяин барин. Была бы честь предложена. – Олег сделал глоток, посмаковал. – Способствует нормализации коронарно-мозгового кровообращения, знаете ли.

– "Мартель"?

– Грешен: люблю себя побаловать. – Олег расслабленно откинулся на стуле, обвел взглядом кабинет, закончил:

– Хорошо. Кажется, О'Генри сформулировал: если тебя окружает роскошь, то не важно, кому она принадлежит.

– Ваш О'Генри был всего лишь слюнявый писака и словоблуд. А потому не уразумел смысла этой жизни: кому что принадлежит – это и есть самое важное.

– Каждый в жизни самое важное выбирает сам.

– Как бы не так. Посадить тебя, Данилов, за «колючку» да не покормить с месяцок – что запоешь?

– Это философский выпад или конкретное предложение?

– Это жизнь. А как она для тебя сложится в дальнейшем...

– Блестяще. С божьей помощью. Так и будет.

Некоторое время Бокун сидел в кресле неподвижно. Гнев прошел, красные пятна потускнели, он спросил деловито и вполне миролюбиво:

– Вернемся к нашим делам?

– Как сказал некий герой в одном фильме: «Да какие у нас с вами могут быть дела?»

– Кто вам заказал статью, Данилов?

– Никто. Личная инициатива.

Бокун вновь закаменел лицом, пожевал губами:

– Вы не хотите идти нам навстречу.

– Я же говорил, господин Бокун, я скажу вам чистую правду, но вы мне не поверите.

– Хорошо. Сформулируйте так, чтобы я поверил. Или от-

ветьте на вопрос: зачем вы это сделали?

– Коротко?

– Да как получится.

– По глупости.

– Да?

– Такие, как вы, Фокий Лукич, чувство собственного достоинства считают глупостью, не так?

– Ну-ну, я слушаю.

– Мне надоело читать здешние газеты и смотреть здешний «ящик»... Заказные статьи, заказные передачи...

– В Москве по-другому?

– В Москве так же. И в Берлине, и в Лондоне, и в Нью-Йорке... Кто платит, тот и заказывает музыку.

– Любую, включая похоронную, – ощерился Бокун.

– Не рано ли вам, Фокий Лукич, вспоминать о похоронах? Смотрите, накаркаете.

– Итак, вас взъела гордыня, Данилов, – оставил его реплику без внимания Бокун.

– Да нет. Просто хотелось в слово «демократия» вложить конкретное содержание.

Бокун расплылся в улыбке, у него даже щечки порозовели от удовольствия:

– Был один такой скорый. Горбатый с пятнышком. Он хотел в слово «социализм» вложить «конкретное содержание». И что в итоге? «Вложили» его, причем очень конкретно! Вы же умный человек, Олег, вы что, верите в какие-то «реаль-

ные содержания» пустышек для развлечения черни?

– Отчего же пустышек? Скажем, у афинян демократия была очень реальным делом. Собирались граждане полиса, тыщи две-две с половиной, знали они друг друга, как знают сельчане одной деревни, – вот этот выпивает, а вон тот до гетер шибко охоч... Росли вместе, дрались с соседями, женились, ссорились, выпивали, чужих дочек соблазняли... Вот и выбирали себе стратега, кто – по совести, кто – по-родственному, а кто и по лукавству, за пару драхм или за амфорку критского красного.

– Вы только подтверждаете мои слова.

– Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что в современном мире при наличии средств массовой информации и дезинформации, сконцентрированных в тех или иных руках, так называемая «демократия» является инструментом манипулирования общественным сознанием по поводу захвата и удержания власти. Захвата «мирного», «парламентского», «демократического». Но при том... Знаете, чем отличается демократия от автаркии?

– Ну и?

– Возможностью реализовать принцип: «Меня не спрашивают, но я скажу». А люди пусть уж сами решают, нужно ли им то, о чем я рассказываю. В любом случае им стоит знать, что с ними происходит.

– Люди?.. – Круглое лицо Бокуна стало еще шире от язвительной улыбки, щеки зарозовели пуще. – Вы что, решили

просветить народы? И рассказать им, в каком они дерьме? Так никого вы этим не удивите: скотина всегда в дерьме, потому что живет в хлеву. И как бы этот хлев ни назывался, Балтия, Югославия или Россия, бычки и телки мечтают всюду лишь об одном: чтобы кормили почаще да от случки не отлучали. Так о чем вы тогда хотели написать, Данилов? И – для кого?

– У нас разный взгляд на действительность.

– Да? И в чем же разница?

– Хотя и попадаются исключения, но в целом... Я не считаю людей скотом.

– Напрасно. История учит, что люди были таковыми во все века. Или скоты, или хищники. Третьего не дано. Или вы относите себя, – Бокун брезгливо поморщился, – к аристократам духа?

– Именно.

– Вот даже как? Ну а я мужичок лапотный, из народа. И терпеть не могу чистоплюев. – Бокун взъярился не на шутку, враз, даже редкие волосики на темечке словно сами собой вздыбились ершистым петушком. – Ну а раз ты еще и аристократ, так изволь жить голодно и счастливо. Больше тебе работы ни в Княжинске, ни в этой стране вообще не найти. Об этом я позабочусь. Особо. Ты уволен. И запомни: меня еще никто безнаказанно не подставлял! А ты – подставил.

И оттого, что подставил не по злобе и не по алчности, а из «гордости духа», – еще хуже! И если ты думаешь жить сыто

и покойно... Проблемы я тебе обещаю. Тебя ожидает такое дерьмо, в каком ты еще не бултыхался. Пшел вон!

Фокий Лукич дышал тяжело, навалившись грудью на крышку стола; глаза его налились кровью, как у бычка на выгоне; он хотел что-то добавить, но вдруг встык напоролся на встречный взгляд Данилова: тот смотрел холодно и спокойно, настолько спокойно, что Фокию Лукичу стало не по себе. Непрошенные, тревожные мыслишки суетливо забегали под черепом, словно тараканы по столу, и – канули куда-то разом. Душу затопила ледяная предсмертная тоска; страх, ужас сковал все тело параличом могильной стужи, и Фокию Лукичу вдруг стало ясно: никуда он из этого кабинета больше не уйдет... Просто упадет головой на стол, и через три четверти часа равнодушные санитары выволокут запакowanego в пластик остывающего мертвяка. Взгляд Данилова даже не гипнотизировал – он не оставлял надежды.

Фокий Лукич задержался, захрипел нечто маловразумительное, веки тяжело опустились на глаза, но он не почувствовал никакого облегчения – наоборот, смятение! Ледяные струйки текли от затылка по хребту к пояснице, и для Фокия Лукича было ясно, что это последнее сильное ощущение в его жизни.

– Что и требовалось доказать, – услышал он голос Данилова уже от двери, приоткрыл глаза, но посмотреть на него не посмел; все плыло, словно в грязно-желтом тумане... – Ни одна скотина не выдерживает взгляд человека.

Глава 12

Хлопок двери показался Бокуну выстрелом; он оплыл в кресле бессильным жирно-ватным комом и замер. Брыли тряслись, щеки сделались мокрыми, очертания комнаты он видел словно сквозь грязную пелену: зыбкими и неровными... Выдавив из себя какой-то странный звук, он кое-как поднялся из-за стола, мелкими шажками просеменил к большому шкафу, открыл бар, взял большой хрустальный графин, торопливо и судорожно наплескал широкий стакан до краев и выпил коньяк, как воду, не переводя дыхания, в три глотка. Всхлипнул, хлюпнул даже носом, будто наказанный ребенок, налил еще и снова выпил – на этот раз медленнее, ощущая, как сама жизнь вливается с каждым глотком солнечным виноградным огнем.

– М-да, Фока, эка тебя развезло... Прямо не президент холдинга, а фиговый студень. Кисель. Как сказали бы сдержанные англосаксы, пу-у-удинг.

Высокий человек, одетый в черную тройку, появился из двери в углу кабинета, ведущей в комнаты отдыха.

Бокун вздрогнул, повернулся всем телом, в глазах еще тлели угольки страха, а он уже орал, брызгая слюной:

– Вели его убить, Гриф! Прикажи!

– И голос у тебя какой-то... бабий, – брезгливо поморщился вошедший. – Вытри сопли, Фока.

Мужчина, которого Бокун назвал Грифом, был сухопар, высок, плечист; редкие пегие волосы были гладко зачесаны набок, лицо было невыразительным и блеклым, глаза казались пустыми и безразличными. Но только казались: острый, как жало стилета, взгляд заставлял любого из собеседников чувствовать тревожное и тревожащее беспокойство, словно этот человек знал о жизни или, скорее, о смерти что-то такое, что делало его жесткость оправданной, а положение — неуязвимым. И еще — брови, сросшиеся над горбинкой носа, черные как смоль; они усиливали повелительность и власть его странного взгляда. Фокий Лукич вдруг понял, что он всегда подсознательно пририсовывал к породистому лицу и статной фигуре Грифа: монокль и генеральскую форму вермахта. Да-да, именно вермахта, а не СС: этот человек выглядел аристократом, а не мелким провинциальным бюргером, пробившимся к вершинам власти: такому власть принадлежала по праву рождения.

Гриф подошел к бару, выбрал себе шотландское виски, открыл холодильник, насыпал льда, долил спиртным, сделал глоток.

— Что за дичь ты нес, Фока? Какие скоты, какие хищники? Ты чего, Ницше вечор обчитался, белокурую бестию решил из себя тут изобразить? Так бедный Фридрих свои творения в дурдоме сочинял, где и сидел безвылазно. И — кончил плохо. То ли паралик его гэкнул, то ли кондратий хватанул. Ну да ладно он, неукротимый шизофренствующий германоид,

а тебя с чего сегодня перемкнуло эдак, селянин, колхоз тебе папа?

Вместо ответа, Фокий Лукич выпил еще коньяку и, казалось, охмелел совершенно. Он надул губы по-детски и слезливо пожаловался:

– А чего он?

Всхлипнул, пошел к своему креслу, долго всматривался в дорогую кожу, словно проверяя, не оставил ли там посетитель змею, вздохнул и прямо-таки ухнулся задницей в кресло. Иноземная мебель податливо прогнулась дюралем каркаса и приняла форму тела сидельца. Сейчас Фокий Лукич почувствовал бы себя вполне уютно, если бы не Гриф: во время всего разговора он сидел в комнате отдыха, скрытой декоративной панелью, и слышал весь разговор. Вот это, как и присутствие Грифа сейчас в кабинете, было Фокию Лукичу неприятно.

– Н а теперь чего надулся, как копеечный презерватив? Брось. Крутизну качать будешь перед своими тщедушными писаками. А я тебя, Фока, как облупленного знаю. И успокойся: ты стал играть с этим пареньком в те игры, в каких он дока.

– У него взгляд убийцы, – хрипло выговорил Бокун.

– Вот-вот. Кто на что учился. Территория войны – его территория. А ты ему грозить вздумал.

– А чего он...

– Прекращай сетовать. Давай по делу поговорим.

Бокун пожал плечами.

– Где ты вообще подобрал этого самородка?

– Порекомендовал кто-то. Из моих. – Бокун наморщил лоб. – Гусина Валентина Ивановна.

– Она что за птица?

– Заведующая отделом культуры. В «Курьере».

– Серьезная тетка?

– Весьма.

– Так что ж она, серьезная, тебе такого котенка в мешке подложила? Который вполне может сойти за леопарда? Да не морщись ты! Мужское обаяние с бабами черт-те что творит.

– Да какой там – она в годах женщина.

– Годы любви не помеха.

– Брось, Сергей Оттович. Ты же видел этого франта. Позарится он на шестидесятилетнюю дебелую клушу...

– Он на нее – нет, она на него – запросто. Она же не нынешних нравов матрона, ей, может статься, иметь в протееже этакое тарзана просто для души приятно.

– Да какой уж там тарзан... Нет. Она его сразу привела как аналитика. И перо, надо признать, у парня бойкое.

– То-то оно нам боком и вышло. Откуда этот Данилов?

– Родом?

– Да.

– Не знаю. А приехал из Москвы.

– И что он в Княжинске потерял?

– Квартира ему здесь осталась. От какой-то родственни-

цы. А в Москве, видать, что-то не сложилось.

– "Видать", «надясь», «небось»... Где ты этого набрался, аппаратчик? А разузнать загодя? Ты же не на картофельной ферме, Фока, заправляешь, ты у нас общественное мнение формируешь. Халатно подбираешь сотрудников, вот и результат.

– Не мое это дело – вникать в мелочи... – приосанился Бокун.

– Мелочи?... Люди не мелочь, Фока, совсем не мелочь! – Казалось, Гриф едва сдерживает нахлынувшую внезапно ярость. – Помнишь, некогда был такой усатый кормчий в бывшей стране? Или забыл уже? «Кадры решают все!» А что такое кадры, Фока? Кадры – это люди, расставленные по тем или иным должностям в соответствии с их способностями или неспособностями. Только правильная расстановка людей по местам и рангам позволяет любому общественному институту, будь то предприятие, служба или государство, функционировать хорошо отлаженным механизмом. Если винтик-болтик от «КамАЗа» в «Запорожец» сунуть, что будет? Срамота и бестолочь будет, Фока, и никакого движения. – Гриф поболтал льдинками в полупустом бокале, закончил:

– Ну а то, что устроил нам твой Данилов, это тем более не мелочь.

– Статью ему заказал Реймерс. Больше некому.

Гриф поморщился:

– Ты дурак, Фока. Этот малый тебе чистую правду сказал: никакой Реймерс ему статью не заказывал.

– Тогда зачем он...

– Фока, он же тебе объяснил. А ты не понял. Потому и дурак. Только могильщики людей одним аршином замеряют, а тебе бы пора уже стать попроще и поумнее. А так – все плывешь щепкой по течению.

– Извини, Сергей Оттович, но... Я уже тридцать лет на руководящей работе...

– На водящей, Фока. Просто – на водящей. Помнишь детские игры – в догонялки там или в пряталки? Ты и водишь. Такая твоя работа. И не сверкай на меня глазками. Твое дело зажмурить их крепко и считать сколько положено. В то время, как другие каштаны таскают из огня. Каштанов тебе особо не перепадает, но шкурка тоже хороша. – Гриф обвел глазами кабинет. – Славно живешь, справно.

А грешно ведь так жить, Фока, не имея за душой ни ума, ни фантазии, ни отваги.

– Был бы я так плох – вы бы меня здесь не держали.

– А кто говорит – плох? Я же сказал: людишек нужно расставлять по способностям. За что тебе пеняю? Как раз за то, что на работу крысы ты тигра взял да поинтересоваться не удосужился, откуда у него когти растут, а откуда – лапы.

– Виноват, Сергей Оттович.

– А я – удосужился.

– Простите?

– Не поленился и здесь пошустрить, и в Москву человечка отправить, чтобы он мне этого «писаку – золотое перо» Разъяснил.

– И что человечек? Принес материал?

– В клювике. Только это не материал. Слезы. Обманка. «Дурочка».

– Простите?

– Работал в Москве твой Данилов в некоей структуре под малопонятным названием «Анкор».

– Ну, это и в трудовой его есть...

– Липа его трудовая! Понял? Чернуха!

– Как это?

– Так это. Молодой человечек сначала беспорочно трудился в гуманитарном научно-исследовательском институте, потом корпел страноведом в каком-то фонде, благополучно развалившемся, потом – в том самом «якоре» зацепился... Знаешь, в чем тут «пуля»? Ни одно из названных заведений до нашего времени не дожило!

Полопались недужные, аки мыльные пузыри, без памяти и надгробных камней, и никто о них ни слухом уже не знает, ни духом не ведает. Уразумел?

– Ну. Летун он. Неудачник. Looser. – Фокий Лукич напргся, вылавливая в неподатливой памяти ученое словцо, нащупал-таки, выдал авторитетно:

– Маргинал.

– Маргинал, маринад, маргарин... Ты уж, Фокий Лукич,

пожалуй, не умничай, оно тебе не идет. Говоришь, статьи он для тебя справные кропал?

– Что да, то да. Отзывы от читателей были. Правда, всегда с душком легкого скандалеза, но это же к лучшему? – Бокун преданно заглянул в глаза Грифу.

– Вот-вот. – Гриф налил себе еще виски, отхлебнул, откинулся в глубоком кресле, выудил из кармана пачку, вытянул сигарету, прикурил, затянулся с удовольствием, выдохнул вместе с дымом:

– И статью в «Зерцало» он тоже смастерил и умно, и хитро. Обо всем и ни о чем конкретно. И ни о ком. Но этим вроде как на смех смастыренным и наугад пущенным бульником Данилов попал в бочку с самым гнилым дерьмом. Да еще и брызги разлетелись и по нашим коррупционерам, и по нашим нуворишам и достали ой до каких высоких кабинетов! А с другого боку глянуть – философское эссе, да и только! У тебя газетенка эта под рукой?

– Я сейчас Лилиане...

– Сиди уж, вождь краснорожих. Гриф извлек из «атташе» газету, развернутую на нужной странице.

– Послушай. "Национальная идея без национального капитала – это гуляющая девка в лентах, монистах и с голой задницей, девка, которую имеют все, кто платит. А платят, или, говоря по-ученому, кредитуют, только две стороны: наш Гуманитарный Просвещенный Запад и наш Великий Восточный Сосед, бывший некогда Старшим Братом и ставший те-

перь, с одной стороны, пугалом для самостийщиков, с другой – Всегдашним Оправданием для всех наших политиков, политиканов и мастеров политеса, списывающих на происки упомянутого Великого Соседа все свои неудачи, махинации и прямое воровство.

Кредитование со стороны Запада и Востока различное: первые кидают куски пусть и скудные, но часто. Вторые – вливают содержимое в Трубу, благодаря которой в домах граждан тепло и светло и к которой можно надежно присосаться. А еще – обеспечивают заказами промышленные гиганты центра и востока страны.

Вот два источника формирования нашей доморощенной крупной буржуазии, компрадорской или посреднической как по происхождению, так и по сути. Первые, «западники», имеют мощную поддержку на всех этажах и во всех коридорах власти, вторые – к ней рвутся. Экономическая мощь вторых против влияния и опыта политических манипуляций первых: кто победит?

Впрочем, есть еще и «служилые люди» – миллионная армия чиновников. Если они кому-то и служат, то только себе. Пока суд да дело, государственная бюрократия всех мастей и рангов мастерски доит и первых, и вторых. Прошрое чинуш прозрачно, настоящее – стабильно, будущее – радужно. Но status quo в хлипких плутократиях не длится вечно. Недалек день, когда две упомянутые группы сойдутся в непримиримом противоборстве. И – горе побежденным".

Глава 13

– Неплохо сказано, а? – Гриф смотрел на Фокия лучистым взглядом вчерашнего выпускника.

– Эти выпады...

– Прекрати, Фока, даже ты должен понимать, это чистая правда. Все остальное – независимость, демократия, реформы – пена. Причем не пивная, а... наоборот. Впрочем, есть еще и оружейники, и валютные спекулянты, ну да это совсем другая пьеса. А нам нужно доиграть эту. – Гриф устремил взгляд в полуприкрытое жалюзи окно. – Доиграть и выиграть. А дальше... Я запомнил, что там дальше в статье?

– Нефть и газ. Газо-и нефтепроводы.

– Именно. Нефть и газ. Транзит. И – кровеносная система мира. Самое смешное, что твой Данилов не упомянул все ни одного имени, а волну вызвал...

Да, по моим сведениям, пара западных таблоидов намерены статью у него перезаказать, так сказать, с просьбой осветить интересные их публике аспекты.

Его разовый гонорар будет куда весомее, чем все твои выплаты.

– Возможно, он этого и добивался? Скандальной известности?

– Все возможно. Но уж очень ко времени. Нет? Бокун пожал плечами.

– Меня же во всем этом беспокоят три вещи, – продолжил Гриф. – Первое: почему «Зерцало» сие опубликовала. Там умный редактор, и он не мог не понимать, что... Не в Швейцарии живем, у нас постреливают. Не так часто, как в северной столице Большого Брата, но не менее фатально.

– Да руки у него не дошли, у главреда. Скорее всего, сам он материал не читал.

– И такое может быть. Значит, имеет сейчас со своими не менее содержательную беседу, чем ты со мной. Или – не имеет? Вопрос вопросов. – Гриф вздохнул. – Второе: Данилов определенно сказал правду, ни от кого он заказа не получал, а тогда... Тогда кто сыграл его втемную? И ведь хорошо сыграл, как по нотам... Кто композитор и дирижер, вот что меня интересует! Ведь за Даниловым увидят тебя, – Фокий Лукич при этих словах втянул голову в плечи, – а за тобой меня! – Некоторое время Гриф задумчиво изучал прихотливые изгибы табачного дыма, проговорил, словно размышляя вслух:

– Ну что ж, войны все одно было не избежать, хотя она и не ко времени, ну да все войны случаются не ко времени, и каждый солдат кого-то недолюбил и что-то там недокурил... Ты готов к войне, Фокий?

– Я? – Фокий Лукич еще глубже заполз в кресло, заморгал глазками, разом представив себя в грязном окопе с «Калашниковым» – жалкого, завшивленного... А на бруствер уже бегут страшные бородатые люди конкретной национальности и собираются его захватывать и пытаться, пытаться... Кадык его

лихорадочно задержался, взгляд наткнулся на стакан с остатками коньяка, и Фокий его вылакал жадно, прихлебывая, как пойло. Гриф поморщился:

– Манеры у тебя, Фокий... И как ты по сю пору не спился? Видно, страха в жизни было немного, а? Настоящего, демонического страха... Странно... Ты ведь человек без особых фантазий, а боишься так, словно напредставлял уже себе всякие напасти-мордасти вживе... Что и удивляет.

Бокун из своего кресла-засады лишь мрачно зыркнул на патрона, подавил подступившую икоту, вдохнул, собираясь что-то сказать, но промолчал. Гриф этого его поползновения, похоже, даже и не заметил.

– А третье, дорогой Фокий, по порядку, но не по значению: я думаю над тем, как нам извлечь из всего происшедшего наибольшую выгоду. Ну, что ты нахохлился, как саванный суслик? Прекращай уже переживать, включай аппарат мышления. Для начала мы проведем разведку боем. И дадим серию статей. О Дидыке, Раковском, Реймерсе, Ткаченко, Головине. Я никого не забыл?

– Может быть, стоит выждать?

– Чего? Как заметил еще Макиавелли, войны нельзя избежать, ее можно лишь отложить – к выгоде противника. Ну а в свете грядущих выборов... Тот, кто получает власть, получает и все остальное.

– Но сейчас... Ведь я тогда...

– Окажешься на «острие атаки»? Можно и так сказать. Не

все в сортирах отсиживаться.

– Но Дидык, Реймерс и особенно Головин...

– Боишься? Не бойся, Бокун, живым мы тебя этим огло-едам не отдадим, – оскалился Гриф. Фокий Лукич побледнел, икнул, закашлялся.

– Я... Мне... Я нездоров!

– Не мельтеши, Бокун. Нельзя выжидать, когда начался передел самого сладкого здешнего пирога – Трубы! Нельзя быть настолько трусом, Бокун! Ты привык вкусно жрать и крепко спать, но комсомольские времена давно минули! И порой даже таким, как ты, нужно рискнуть – благо за жирный кусок! Или ты не желаешь больше с нами работать? Устал? Рыбку захотел половить мирным функционером?

Гриф упер немигающий взгляд Бокуну в переносицу, тот явственно услышал, как под ложечкой что-то екнуло и оторвалось, раскрыл рот, вылупил глаза, словно выброшенная на мелкий пляжный песок глубоководная рыба камбала... Взгляд у Грифа был другой, чем у Данилова. У того – горячий и острый, несущий огонь гнева, и страх сгореть в этом огне только мгновение спустя превращался в грядущий ужас небытия... Гриф же смотрел безразлично, как на падаль, словно смерть твоя уже произошла... Некстати Бокуну вспомнилось вдруг, что Гриф когда-то служил инструктором «девятки», службы охраны, и славился умением вырывать у человека кадык одним движением так, что жертве оставалось заживо захлебываться собственной слюзью.

Бокун почувствовал, как все тело разом покрылось липким, дурно пахнущим потом, словно рыбьей чешуей; он знал, что Гриф тоже учуял этот гнилостный запах, и оттого ему стало еще омерзительнее... Кое-как он справился с горловым спазмом, заговорил, с трудом выталкивая слова сквозь стиснутые губы.

– Я просто переработал, – прохрипел Бокун совершенно чужим голосом. – Этот Данилов утомил меня.

– И напугал, не так ли? – Гриф легко и непринужденно поднялся из кресла, прошел к бару, плеснул себе еще виски, выпил медленно, с удовольствием. – Все дело в том, милый Фока, кого мы больше боимся в этой жизни – врагов или друзей... Враги – надежнее, друзья – опаснее. – Гриф неожиданно повернулся к Бокуну, спросил быстро:

– Я ведь тебе друг?

Тот не сумел подготовиться, лишь глубже втянул голову в плечи, опустил взгляд в поверхность стола и – кивнул.

– Вот-вот, кивай. Но никогда не отвечай на такой вопрос утвердительно: ответ будет ложью, и ложь эта в глазах вопрошающего будет явной. Как говаривал старик Ришелье, предательство – лишь вопрос времени. Нет такого человека, которого другой не предал бы. И даже не ради денег, славы, удовольствий и уж подавно не по принуждению. Очень часто – по легкомыслию. Еще чаще – из зависти.

Зависть – самое людское из всех человеческих качеств. И самое прогрессивное.

Заставляет двигаться даже тех, кто ленив и нелюбопытен. – Гриф замолчал, застыл, устремив взгляд в себя, потом снова обратился к Бокуну:

– Не переживай, Фока. Помнишь Влада и Эдика? Этих «братьев из ларца»? Они снова станут приносить тебе готовые хохмочки и примочки, тебе не будет даже нужды их читать.

Можешь продолжать квасить. И переживать. И не беспокойся понапрасну: и Дидык, и Реймерс, и Раковский, и Головин, и остальные – люди слишком умные, чтобы грешить на тебя... Будку не наказывают за то, что оттуда лает собака. Так что – спи спокойно, друг. Хм... Звучит как эпитафия. Мрачно, но надежно.

За время пространного монолога Грифа Бокун почти полностью справился с эмоциями. Лицо выглядело слегка помятым, но в целом он производил впечатление собранного, пусть и застегнутого на все пуговицы вицмундира, функционера. Он быстро, мельком взглянул на Грифа, произнес бесцветно и бесстрастно:

– А что ты предполагаешь делать с Даниловым, Сергей Оттович?

– Не беспокойся, Фока. – Если Гриф и был удивлен быстрой перемене, произошедшей с Бокуну, то виду не подал: так, принял к сведению. – События, предоставленные самим себе, имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему.

Этого я допустить никак не могу. И Даниловым займусь.

- А если он представляет структуры?
- Все мы представляем структуры, Фокий.
- Я имею в виду – органы. Наши или российские.
- И что это меняет?

Бокун помялся:

– Прижать его надо хорошенько. Расколется, как сухой пряник.

– А если не расколется?

– Таких не бывает.

– Это верно. Вот только куда нам его девать, измороженного да наркотой заколотого? Особенно если он представляет «структуры»?

– Ты ж сам, Сергей Оттович, поминал Виссарионыча. «Есть человек – есть проблема, нет человека – нет проблемы».

– А ты злопамятен, Фока, ох злопамятен! Нет, устранять Данилова не разумно. Пока. Ведь кто-то подвиг его на деяние? Кто-то выставил перед нами болванчиком и мальчиком для тумаков? Да и сам он – лошадка пока темная. Нет, устранять рано. А вот посадить на «поводок», да живцом... Да еще на такой, что покажется клиенту «сладким пряником». Ты ведь на своей наживке чувствуешь себя большущим хищным карпом в собственном пруду, эдаким царьком... Такого роскошества мы Данилову не предоставим, но кое-что можем. Он сам сказал, что любит роскошь.

– А кто ж, барин, не любит?

– Ты начал шутить, Бокун? Значит, ожил. Вот теперь я совершенно спокоен за, так сказать, «план мероприятия». – Гриф запрокинул голову, некоторое время раздумчиво изучал подвесной потолок. – Как констатировал один ученый богослов, все переменчиво в этом мире и в равной степени имеет задатки служить как добру, так и злу. А что есть деньги? Добро или зло?

– Человека не так портят деньги, как их отсутствие.

– Ну да, вопрос риторический: количество денег порой определяет степень нашей свободы в этом мире. Но не для всех. Не думай, что я пошлю твоему собкору-махинатору человека с баулом «зелени». Ты его здорово «раздергал». Он идеалист. Ну а поскольку времени перевоспитывать его в материалиста нет, да и ни к чему это... Идеалы способствуют великим деяниям. А деньги – лишь дисциплинируют. Так что... С идеалистами нужно лаской. Нежностью. Любовью. – Гриф раздумчиво поиграл льдом в бокале, спросил:

– У него есть кто-то? На тему любви?

– Из редакции?

– Из редакции, со скамейки, с панели – не важно!

– Сплетен про него не слагают.

– Нужно посодействовать молодому человеку, ибо... –

Гриф поднял свой бокал, поболтал остатками льдинок, напел негромко:

– "Жить без любви, быть может, можно..." Но – как?... Подберем мы твоему Данилову умницу, красавицу, рукодельни-

цу и чтобы писала чистым апельсиновым соком! Ты доволен, Фока?

Бокун неопределенно пожал плечами.

– Вижу – недоволен. По тебе – закопать супостата в ямку поглубже и цементом сверху залить. У-у-у, Живодеров... – Гриф шутливо погрозил Бокуну пальцем. – Закопать никогда никого не поздно, Фока. Никогда и никого. – Гриф помолчал, рассеянно глядя в окно, закончил деловым тоном:

– Кажется, мы все обговорили?

– Да, Сергей Оттович.

– Не слышу энтузиазма в голосе.

– Энтузиазм – удел дураков.

– Пожалуй. Возвращайся к своим баранам, Бокун. А я вернусь к своим волкам.

Каждый в этом мире должен занимать свое место. Иначе всех ждет беспорядок.

Хаос.

Гриф выплеснул остатки виски на палас и пошел к двери.

Полуобернулся:

– Да, Фока... Что ты там сказал про его взгляд?

– Взгляд?

– Именно.

– У него взгляд убийцы.

– Как романтично. Идеалист со взглядом убийцы. Беллетристика. У этих парней, друг мой, не бывает никакого взгляда. Только прищур. Сквозь прорезь прицела.

Гриф закрыл за собою дверь мягко, как хозяин. Бокун застыл в кресле, опустив глаза на матовую поверхность стола. Ничего. Время волков не может длиться вечно. Только до той поры, пока они не перегрызут друг другу глотки.

Вот тогда и наступит его время. Как Гриф его назвал? «Саванный суслик»? Пусть.

Саванна принадлежит как раз этим осторожным зверькам, когда волчьи кости уже дотлевают в ямах.

Фокий Лукич поднял взгляд и долго смотрел вслед ушедшему. В зрачках его не осталось ничего, кроме ненависти, стылой и бездонной, как черная просинь ледяного омута.

Глава 14

Сергей Оттович Гриф сидел за столом в просторном кабинете и нервно перебирал бумаги. Ему было беспокойно. Отчего, он не знал, но беспокойство свое никогда не рассеивал ни вином, ни развлечениями: он искренне полагал беспокойство предохранительным клапаном от разного рода неприятностей. Они уже где-то совсем рядом, близко, неведомая железка в организме или извилина в сером веществе мозга отвечает как раз за предвидение событий или случайностей, и надпочечники уже высылают в кровь адреналин, и сердце начинает стучать ровно и мощно, рассылая кровь, эту животворную субстанцию, именуемую китайцами живительной энергией «ци», по тканям, готовя тело и интеллект к схватке, к поединку, к победе. Если, конечно, организм здоров, а не отравлен унынием, тоской, никчемной самоукоризной или, хуже того – раствором алкоголя или наркотика – этими служками владыки преисподней.

Гриф алкоголь употреблял очень умеренно и аккуратно, к наркотикам, как и к людям, им поклоняющимся, относился с искренним безразличным презрением... Тогда – отчего тревога? Кажется, все идет по плану, но что-то зудит и зудит надоедливо и монотонно, словно невидимый комар в ночной комнате, мешая сосредоточиться и обрести душевный покой. Давешний разговор с Бокуном? Да. И – Данилов. Что-

то очень уж самоуверенный парниша этот интеллектуал-самородок, чтобы быть ничьим.

Гриф уже отдал необходимые распоряжения, нужно проверить исполнение. Глядишь, и на душе прояснится. Гриф нажал кнопку селектора, приказал:

– Вагина ко мне.

Александр Александрович Вагин, блеклый невыразительный мужчина с пегими волосами, с пегой, словно присыпанной тальком кожей и с пегим взглядом невнятного цвета глаз, был неприметен, исполнителен и аккуратен. Среднего телосложения, среднего роста, средних лет... Даже костюм на нем, не старый и не с иголочки, не отутюженный и не мятый, был такого невразумительного колера, что, как только Вагин исчезал с глаз, визави вряд ли смог бы определить даже его цвет. Естественно, и сослуживцы, и подчиненные никогда не называли его Александром Александровичем; Сан Саныч было обращением почти официальным, ну а за глаза Вагина кликали – Серый Йорик, ибо на Серого кардинала он никак не тянул. Впрочем, при всей своей отвратно-непрезентабельной наружности Серый Йорик был еще и до омерзения похотлив и, как выразился один сослуживец, «злобуйственен», а потому многие старались брезгливо уклониться и от его приязни или ненависти, и от его потного и мятого рукопожатия. Вагина это несколько не смущало. Его посыпанный перхотью пиджачишко являлся частью казенного пейзажа, как мажущаяся побелка в иных коридорах или жел-

то-грязная окраска стен в иных заведениях. Гриф же просто знал Вагину цену. Как и всем, с кем он имел дело.

– Вызывали, Сергей Оттович? – застыл на пороге блеклой тенью Йорик.

– Да. Ты взял Данилова в разработку?

– Так точно.

– Результаты?

– За два часа трудно установить что-то определенное.

– И тем не менее...

– Пока только «объективка». Данилов Олег Владимирович, русский, в партиях и общественных организациях не состоял, политикой не занимался, место рождения, как и год, не указаны...

– Что значит, не указаны?

– Данилов сам заполнял файл, к тому времени он уже две недели сотрудничал в газете, никто в его формуляр не заглядывал... Разгильдяйство, конечно... Вот он и созорничал: местом рождения указан Кубытинск-на-Усяве, временем – тридцать третье Брюмера шесть тысяч восемьсот тридцать седьмого года от Сотворения мира.

– Забавно. Ты никогда не задумывался, Вагин, что даже это сочетание, «Сотворение мира», говорит в пользу христианства?

– Простите?..

– Со-творение. Когда в этом приняли участие Отец, Сын и Дух Святой.

Вагин пожал узкими плечиками:

– Я далек от богословия.

– Пожалуй, я тоже. Так, игра воображения. Зачем ты мне рассказываешь о вольных сочинениях Данилова?

– Ну как... – смешался подчиненный. – Положено.

– Мне не нужны идиотские сказки этого «простачка» о всяких кубытинских, игогоевских-на-Усяве и крестопропойсках.

– Виноват.

– Ты составил запрос для нашей агентуры в Москве?

– Так точно. – Вагин неуловимым движением извлек из папочки убористо заполненный текстом листок. – Необходимо ваша виза.

Гриф быстро пробежал глазами текст. Двумя скупыми выверенными движениями вычеркнул несколько пунктов. Спросил:

– Какую смету ты заложил в оперативные расходы?

– Пять тысяч долларов. С допуском.

Гриф скривил губы:

– Не нужно никаких допусков. Добавь сзади нолик – и будет в самый раз.

Информация мне нужна в течение двух, максимум – трех дней.

Пепельное лицо Серого Йорика словно подернулось рябью: это означало удивление.

– Пятьдесят тысяч? На выяснение прошлых обстоя-

тельств отставного журналиста?

– Он не журналист, и ты, голубчик, знаешь это не хуже меня. Или, по крайней мере, догадываешься.

– За пятьдесят тысяч я раньше покупал резидентов, – упрямо поджал губы-ниточки Вагин.

– Было за что платить... Раньше резиденты интересовались тайнами мадридских и кремлевских дворов... Удобно ли сиделось дедушке на горшке и хорош ли утренний стул... Ну а если стул хорош, то и трон крепок. Мы же – люди с тобой маленькие, но практичные. Сейчас нас интересуют только деньги и ничего, кроме денег. – Гриф покусал кончик карандаша. – Деньги разлагают людей, давая им возможность потворствовать своим порокам. И люди становятся ручными, как прикормленные белки. Вот и вся политика. – Он вздохнул. – Меня от этого мутит.

– Гриф взял из коробки сигарету, покрутил в пальцах, положил обратно. – Своей статьей Данилов шуранул в нашей провинциальной столице, словно каленой кочергой в муравейнике. Я хочу знать, кто этот «играющий джокер» на самом деле. Ты понял?

– Так точно.

– Экономить на информации в нашем случае – все равно что строить высотный дом без фундамента. Постройка завалится даже, не от ветра, от плевка! – Гриф ощерился, лицо его на мгновение стало неприятным и жестким. – А после опуса этого борзописца в нас не плевки полетят – камни, бу-

лыжники, сваи! И каждый из этих раковских, реймерсов, Головиных станет метать свой банк! Мне не нужно случайностей. Ты понял, Вагин?

– Так точно. Я понял. Но...

– У тебя сомнения?

– За пятьдесят кусков можно завалить дюжину таких, как Данилов.

– И проблема решена дешево и сердито, так? – сузил глаза Гриф. В голосе его явственно слышался сарказм.

– Так, – подтвердил Вагин с неожиданной твердостью в голосе.

– Ты помнишь, майн либер, любимое изречение английских миллионеров?

Помощник пожал плечами.

– "Я не так богат, чтобы покупать дешевые вещи". А смерть нынче дешева.

– Не для того, кто умирает.

Гриф глянул на помощника с каким-то новым интересом. Потом произнес очень медленно:

– Я не могу позволить себе роскошь устранить человека, не выяснив, кто за ним стоит.

– Его сыграли втемную. Это очевидно.

– Особенно если его сыграли втемную. Все. Вопрос закрыт.

– Есть.

– Что ты выяснил о Данилове достоверно? – спросил

Гриф.

– Место жительства.

– Нужно установить наблюдение. Только нежно.

– Люди работают.

– М-да. Не густо. Он действительно одинок?

– Да. Ни родителей, ни родственников. Мы осторожненько опросили соседей.

За полгода в его квартире, конечно, бывали женщины, но – случайные. И не проститутки.

– Я не знаю среди женщин «не проституток». Просто одни продаются за наличные, другие – за карьеру, связи, место под солнцем. Лучше – под южным и ласковым.

– Я имел в виду именно женщин, продающих свое тело за деньги, – дисциплинированно уточнил Вагин.

– А – душу? Душу за деньги продают?

– Извините? – тускло глядя на Грифа, переспросил Вагин.

– Продают... На том и стоит мир. – Гриф пожевал губами, размышляя о чем-то своем:

– Ты не забыл о моем поручении? Барышнями для нашего застенчивого интеллектуала озаботился?

– Так точно.

Вагин выудил из черной папки увесистый конверт и почтительно положил на стол. Гриф вытряхнул из него с полтора десятка фотографий, оскалился:

– Анекдот есть такой. Сидит больной у психиатра, тот вынимает из стола карточку, показывает – на ней изображен

треугольник, – спрашивает больного:

«Что это такое?» – «Это палатка, а там мужик с бабой уединились и – занимаются любовью!» – «Хорошо», – останавливает его врач, показывает карточку с квадратом: «А это что, по-вашему?» – «А это – дом, а там в каждой квартире мужики с бабами...» Врач озадачился, хмыкнул, показывает круг: «Ну а здесь что изображено?» – «Ну как же, доктор, это же земной шар, а на нем – в каждой палатке, в каждом доме, под каждым кустом – мужики с бабами...» – «М-да... – протянул психиатр. – У вас сложная форма сексуальной фобии, вы совершенно неадекватно реагируете на предъявленные вам символы». – «А вы, доктор, тоже хороши, – возмущается больной, – такую порнографию в столе держать!»

– Смешно, – вежливо развел пегие губы Вагин.

– Что ты мне притаранил, лишенец? – произнес Гриф, не очень-то и скрывая за язвительностью недовольство.

– Я полагал...

– Не суди по себе, Вагин. Откуда ты набрал столько шалов? На них же пробы негде ставить!

– Практика показывает, что интеллигенты более всего западают как раз на потаскух. Чем вульгарнее, тем лучше.

– Ин-тел-ли-ген-ты. Ин-тел-лек-ту-а-лы, – медленно и жестко произнес по складам Гриф. – «Практика показывает», – симитировал он тягучий говор Вагина. – Яйцеголовые уроды, путающиеся в этой жизни, как в мамашкиной юбке... Данилов – интеллектуал? Это он не разбирается в жизни?

– Вы охарактеризовали его как идеалиста. Насколько я проинформирован Бокуном...

– Фока тебе рассказал, как Данилов его «построил»? Одним взглядом?

– Он упомянул, что у объекта э-э-э... «взгляд убийцы», но я отнес сие к фантазиям. Фокий Лукич тревожный и неуравновешенный товарищ, к тому же он был сильно нетрезв, и ему могло почудиться, что...

– Ничего ему не почудилось, не привиделось и не помешалось, Вагин. Я слышал разговор. Данилов именно такой. Жесткий. Опытный. Травленный. И раскован он не показно, он так живет. И знаешь, почему? Да просто ничего он в этой жизни не боится: не за кого ему бояться, а к себе он относится как самурай... Что-то в его прошлом пережгло в нем инстинкт самосохранения, и живет он сейчас словно по инерции...

А Фока, тот был напуган смертельно, не блжно! Я не поручусь, что, будь они действительно наедине, Бокун не напрудил бы лужу прямо в своем президентском кресле! А ты говоришь – интеллектual!

– Тогда... почему «идеалист»?

– Тебе следовало бы знать, Вагин. Люди без идеалов ничего не достигают в этой жизни! Их удел – быть прислугой. Высокооплачиваемой, но прислугой! Только идеалы заставляют людей терпеть лишения, быть самоотверженными и проявлять доблесть! Доболесть! Многие давно забыли, что это

такое! А Данилов... Он похож на воина, уставшего от войны и разочарованного в жизни. Но – не в идеалах!

Идеалов чести он не оставил: достоинство не позволит ему тлеть на этой помойке ленивым жвачным или шустрить суеящимся торгашом! А ты – ты предлагаешь хищнику в «предмет обожания» заунывную потаскуху? Нам нужна такая девчонка, в которую он сможет влюбиться, понял, недоросль? – Гриф усмехнулся, закончил ернически, имитируя кота Матроскина из известного мультика:

– Сдается мне, зря я тебя кормлю.

– Виноват, – прошелестел тонкими губами Вагин.

– Это все, что у тебя есть? – кивнул Гриф на рассыпанные по столу фото.

– Нет. – Вагин бесстрастно вынул из папочки другой конверт.

– Востер. Ну-ка? – Он открыл конверт, там было всего четыре фотографии. – Вот это лучше. Откуда девки?

– Э-э-э...

– Да не блей ты!

– Двое из театрального училища, еще двое...

– Где они сейчас? – перебил его Гриф.

– Внизу. Ждут.

– Ты проинформировал их?

– В общих чертах. Дескать, нужно сыграть роль.

– Ты с ними уже работал?

– Да. Способности хорошие.

– Принципы?

– Современные.

– Интересы?

– Развитые девочки.

– Крючки на них?

– Надежные. На каждую папочка. Любой можно поломать и карьеру, и жизнь. А то и закрыть на пару лет безо всяких фокусов. По закону.

Гриф растянул губы в усмешке:

– У нас – так: или по-хорошему, или по закону.

Глава 15

– А ты меня заинтриговал, Вагин. И не столько барышнями... Ты что, решил меня сыграть? Проверить на бдительность, вшивость и профпригодность?

– Ну что вы, Сергей Оттович.

– Ты еще добавь: «Как можно-с». Мы оба знаем, как можно.

– Так точно.

– Ну что ж. Будем считать, первый конверт ты просто перепутал со вторым. И руководила тобою бесхитростная тупость. Так?

Вагин молча стоял перед столом шефа, устремив непроглядно-мутный взгляд куда-то в стену поверх головы Грифа, Гриф бегло пробежал справки на девушек, еще раз рассмотрел портреты.

– Позови-ка мне вот эту, – выложил он одну из фотографий. – Сейчас.

– Слушаюсь, – кивнул Вагин и исчез за дверью.

Девушка появилась через пару минут, принеся с собой какой-то едва уловимый аромат – букет был тонок, свеж и изыскан. И сама девушка была хороша, и походила скорее на девочку-подростка – легкой угловатостью, порывистостью в движениях и взглядом – он был удивительно чист и наивен. Девушка подошла к столу и застыла, чуть косолапя и пере-

минаясь в высоких туфлях. Ноги ее до колен прикрывал подол платья, но Гриф оценил изящество лодыжек... Кажется, он не ошибся. Скоро он узнает наверняка.

– Как тебя зовут? – спросил Гриф.

– Ангела.

– Фамилия?

– Куракина. Ангела Куракина, – Ты знаешь, что за работу мы хотим тебе предложить?

– Да. Мне нужно увлечь мужчину.

– Тебе нужно влюбить в себя мужчину. Молодого, умного, энергичного. С хорошей интуицией и слухом на фальшь. Но – одинокого. И оттого – уязвимого.

Влюбить его в себя. И не влюбиться самой. Задача понятна?

– Да.

– Такой опыт для тебя, как для актрисы, будет полезным. Может быть, даже бесценным. Тебя устраивает гонорар?

– Да.

– Ты понимаешь, что такое «любовь»? Ты знаешь, что такое «влюбленность»?

– Думаю, что знаю... – неуверенно произнесла Ангела.

– Ну что ж... – Гриф откинулся в кресле, рассматривая ее, приказал жестко и властно:

– Раздевайся.

– Что?.. – запнулась девушка.

– Снимай одежду!

– Прямо здесь? – Щеки ее залились краской.

– Да.

– Это... нужно?

– Да.

Анжела беспомощно повела глазами, потянула было платье вверх, покраснела пуще, отпустила полы, расстегнула пуговицы на груди и потом одним движением подобрала подол и сбросила платье через голову. Посмотрела на Грифа потемневшим взглядом.

– Ты превосходно играешь! – поощрил ее Гриф.

– Я... не играю.

– Мне трудно поверить, что, обучаясь в театральном, ты столь стыдлива. Это в наше-то время. Или ты решила разыграть с нашим подопечным, как выражались во времена незабвенные, «любовь на пионерском расстоянии»? Не выйдет. Без секса власти над мужчиной не бывает.

– Секс – это естественно, а вот это все...

– Ну, договаривай.

– Это все... унижительно.

– А что, собственно, тебя унижает?

– Вы... Вы обращаетесь со мной как с вещью.

– Все мы для кого-то лишь вещи. Ну? Что ты застыла?

Совсем раздевайся.

– Для... чего?

– Ты же хочешь заработать деньги.

– Никакие деньги не стоят унижения.

– Вот как? А как же предательство?

– Какое... предательство?

– Ты ведь должна сблизиться с мужчиной для того, чтобы мы знали о нем все.

– При чем здесь предательство? Я же его совсем не знаю.

– Умница. Это просто игра. Ведь так? Я спрашиваю, так?

– Да, – выдохнула девушка одними губами. – Это игра.

Анжела, стараясь не смотреть на Грифа, разделась донага. Гриф встал, обошел ее, бесцеремонно осматривая, остановился напротив, приказал грубо:

– Убери руки!

Девушка, глядя в пол, развела ладони.

– Ты возбуждена.

– Нет.

– Да.

Гриф вернулся за стол, устроился в кресле. Анжела хотела прикрыться, но Гриф рывкнул, словно кнутом хлестнул:

– Не смей!

Девушка вздрогнула, будто ее действительно ударили.

– Расставь ноги!

Она подчинилась.

– Вот так, моя хорошая... – Губы Грифа разошлись в улыбке. – И что ты сейчас чувствуешь? Не слышу?

– Ничего.

– Ну-ну, не торопись с ответом. Посмотри мне в глаза! Отвечать! Ты хочешь заработать деньги?

– Я сказала... Никакие деньги не стоят унижения. – Лицо Анжелы пылало. – Если бы...

– Ну, договаривай!

– Если бы у вас не было тех бумаг... я бы ни за что... ни за какие деньги...

– Ну да, ну да... Исключение из театрального... Увольнение с работы... Ты ведь подрабатываешь в престижном салоне, не так ли? Что дальше?.. Суд...

Лишение свободы... Тюрьма.

– Прекратите!

– Что там за тобой? Кражонка в ювелирном?.. Колечко пыталась стянуть?..

– Перестаньте! Ну, пожалуйста, перестаньте!

– Любая смазливая самочка падка на блестящее. Сядь на стул!

– Что?..

– Сядь на стул! Лицом ко мне! Расставь ноги! – хлестал Гриф фразами. Он рассматривал девушку, лицо его кривила улыбка, которая у другого могла бы показаться похотливой, но... Глаза Грифа оставались холодны. И – безжалостны. – Что ты чувствуешь? Отвечать!

Анжела подняла лицо, ее чувства читались в глазах безо всяких слов, но Гриф прикрикнул:

– Отвечать! Правду!

– Я... Я вас... ненавижу!

– А в тюрьму не хочется, правда? Не хо-о-очется... Куда

проще ноги раздвинуть. – Гриф пригасил усмешку, закончил:

– Разумная девочка.

Гриф откинулся на спинку кресла, закурил, посидел раздумчиво, глядя в потолок и любуясь причудливыми завитками дыма:

– Ты не солгала. Сейчас ты действительно меня ненавидишь. И ты – возбуждена, ты возбуждена так, что у тебя голос срывается... И притом – искренна и в своей ненависти, и в своем желании!

Анжела закрыла лицо ладонями; она так и осталась сидеть перед Грифом нагой в неудобной и бесстыдной позе.

– Я тебе расскажу, что ты чувствуешь... – заговорил Гриф хрипло, почти зашептал. – Страх. Ненависть. А от ненависти до любви расстояние такое же, как и от любви до ненависти... И сейчас... Тебя волнует твоя нагота, тебя возбуждает моя власть, тебя заставляет трепетать твоя полная зависимость и беспомощность!

Гриф замолчал и вдруг выкрикнул резко, словно плетью хлестнул:

– Теперь ты поняла, что такое любовь?! Чужая и чуждая власть принуждает тебя подчиняться, и ты оказываешься на грани высшего чувственного наслаждения!

А любовь – это когда ты покоряешься кому-то потому, что иначе просто не мыслишь для себя жизни! Это доверие, это восторг, это влюбленность, это страсть, это наслаждение

именно своей беспомощностью и властью над тобой самого близкого тебе существа, это ощущение над мужчиной своей власти – власти женщины...

Власти – полной, безмерной и безграничной!

Гриф встал из-за стола, подошел к Анжеле, коснулся ладонью лица; словно токовый разряд прошел по ее телу, девушка застонала, закусив губу, по щекам горошинами показались слезы... Гриф приподнял ее лицо за подбородок, девушка несмело подняла глаза: взгляд ее был темным и покорным.

– Ты меня ненавидишь?

– Да.

Гриф чуть отстранился. Хрипло, словно задыхаясь, Анжела спросила:

– Что... я... должна... сделать?

– Ты должна стать легкой, лукавой, ветреной, беззащитной, умной, сумасбродной, нежной, безрассудной, ласковой, глупой, верной, удивленной и – снова беззащитной! Любовь – это удивление и беззащитность! – Гриф поднес к ее лицу фотографию Олега:

– Ты должна стать для него всем! И помнить: это только игра, игра, увлекательнее которой жизнь еще не придумала! Ты сумеешь?

– Я смогу.

– Я хочу, чтобы он был без ума от тебя. Чтобы ты знала каждый его шаг, каждую мысль, каждый оттенок чувства.

Это красивая игра. Мне нужна твоя ненависть. И – твоя власть. Ты сможешь?

– Да.

Гриф задумался на мгновение. Закончил буднично и абсолютно безразлично: >

– А обстоятельства вашего романтического знакомства мы организуем.

Анжела кивнула. Движение было медленным и плавным, ей не хватало дыхания... Девушка снова подняла лицо, но взглянуть в глаза Грифу не посмела.

Лишь прошептала, с видимом трудом разлепляя запекшиеся губы:

– Что я должна сделать... сейчас? Для... вас?

На лице Грифа читалось разочарование и брезгливость. Как жаль. В мире так мало людей, способных на любовь, ненависть, доблесть. Способных к власти. Таков мир: приходится обходиться тем, что есть.

Осталось получить от этой девочки удовольствие. Всего лишь. Не страсть, не любовь, не счастье. Как жаль.

...Через три четверти часа Гриф снова сидел за столом, свежий после душа, прихлебывая ароматный кофе. С Анжелой уже работал Вагин. Мало быть готовым предавать, нужно уметь это делать. Вагин – прекрасный преподаватель сего доходного ремесла. Губы Грифа растянулись в улыбке. Данилов хорош. Но он, Гриф, ломает этого вольного флибустьера, как только что сломал девчонку. Теперь Анжела Ку-

ракина воспринимает жизнь игрой, в которой и предательство ненастоящее, и любовь – понарошку... И будет работать самозабвенно, потому что он, Гриф, отравил ее самым сильным наркотиком – жаждой власти. Полная власть над мужчиной – что может быть сладостнее для нее после унижения? Ну а что до Данилова...

Человека не так ломает несчастье, как призрак несостоявшейся надежды.

Особенно если этой надеждой была любовь.

Глава 16

...Океан набегал на берег лениво и сонно. Ровная широкая полоска песка была вылизана ветрами и абсолютно пустынна. Только у самой воды шустрые крабы, выброшенные шальной волной, неловко перебирали лапками, стараясь побыстрее вернуться в родную стихию. Чуть поодаль берег вздымался крутым охрово-коричневым обрывом, кое-где поросшим приземистыми кустами и неприхотливой жесткой травкой, ухитрившейся даже расцвести мелкими бледными цветиками.

Девчонка брела по самой кромке прибоя обнаженной, ее худенькая загорелая фигурка казалась частью этого берега, этих древних утесов, скал, выглядывающих из моря, будто окаменевшие останки доисторических чудовищ. Она что-то напевала, играла с каждой набегавшей волной, смеялась сама с собою и с океаном, и гармония счастья казалась полной.

А в дальнем мареве возникло белое облачко. Оно было похоже на батистовый платок, сотканный из прозрачных фламандских кружев, невесомое и легкое, как дуновение... Но марево густело, становилось плотным и непрозрачным, затягивая уже полнеба грязно-белым пологом; оно на глазах меняло цвета, словно наливаясь изнутри серым и фиолетовым... И океан стал сердитым и неласковым, на гребешках волн закипела желтоватая пена, и сами волны сделались

непрозрачными и отливали бурым. Зубья скал ожили в набегающем шторме; вода бесновалась, словно слюна в пасти исполинского хищника, но солнце еще заливало все сиянием, и девушка, занятая игрой, не замечала ничего.

Солнце скрылось в одно мгновение, исчезло, словно кто-то задернул тяжелую портьеру. Девушка оглядела ставший разом чужим и неприветливым берег, метнулась к обрыву; там, над обрывом, полыхнуло бело, земля содрогнулась, и обрыв стал оседать, дробиться пластами... Замер в шатком равновесии, качнулся и с утробным хрустом рухнул на песок, подминая под себя побережье и окутав все окружающее тонным смогом серо-желтой сухой пыли. Девушка заметалась в этом мороке, взвесь песка и пыли набивалась в легкие, душила.

Олегу казалось, что он парит над этим удушливым смрадом, словно птица. В лиловом небе он видел просвет, заполненный солнечным теплом и синевой чистого неба... Нужно было лишь взлететь туда – и все. Но вместо этого он сложил крылья и ринулся вниз, ощущая, как вздрагивает земля, и зная, что через секунду-другую новый пласт породы рухнет и погребет под собою и этот берег, и край океана, и девчонку... Он падал почти отвесно с отважным безрассудством, чувствуя, как девушка мечется в потемках беспросветной серой пыли, и знал, что должен ее вытащить оттуда ввысь, в ясную синеву... Он несясь сквозь серый туман, как сквозь пепел, он кричал, но крик его был бессилен... И тут увидел ее, непо-

движно лежащую у самой кромки воды... Он схватил девушку и рванулся вверх, напрягая волю, чтобы совладать с собственным телом, ставшим вдруг таким непослушным и тяжелым... Пыль застилала все пространство вокруг, душила, и он закричал и почувствовал, как податливый воздушный поток подхватил их и понес вверх, к солнечным лучам и сияющему до боли в глазах небу...

...Олег открыл глаза, некоторое время озирался, не узнавая окружающего, машинально наклонился с дивана, выбил из пачки сигарету, прикурил. Сердце билось, как загнанный зверек, попавший в капкан. Впрочем... И лето, и смерч остались во сне. В комнате плавали пасмурные сумерки: над городом завис Дождь.

Олег был один. Затянулся терпким дымом, усмехнулся невесело...

Порой все, что у нас остается, это сны. А уж что привело к такому невеселому положению вещей – бог весть. И кажется, что жизнь уже закончилась, а ты сидишь в унылой предтече чего-то нового, но вот ощутить, почувствовать, познать это новое тебе еще не дано... И нет уже ни беспокойства, ни душевной смуты, ничего нет. Только пустое созерцание голых стен и бег измученных клячмыслей по замкнутой арене давно опустевшего цирка, в котором не ждешь уже ни оаций, ни очарования, ни смеха. Смех остался далеко-далеко в юности, ну а юность... Она, кажется, вообще случилась в совсем другой, чужой жизни, в другой стране, в другой га-

лактике. Наверное, так и есть. Зато остались сны. О берегах, где никогда не был.

Сигаретный дым был безвкусным и горьковатым. Олег посмотрел по сторонам.

Кошка Катька куда-то ушла по своим кошачьим делам. Он же никуда не собирался.

Потому что возвращаться в пустое жилище было бы совсем горько.

Звонок в прихожей был настойчив. Олег не спешил. Даже размышлял некоторое время, открывать или не стоит. Не было у него в этом городе друзей. Впрочем, врагов тоже. Ну что ж... В любой ситуации нужно искать только хорошее.

Звонивший был бесцеремонен и навязчив. Олег отодвинул защелку, распахнул дверь. На пороге стоял сосед, Иван Кириллович Ермолов. На его мятом, провисшем, словно постиранном и не просушенном до конца лице читалась вселенская скорбь.

Он смотрел прямо перед собой блеклыми выцветшими глазами и вряд ли отчетливо видел Олега. Но открытую дверь различил.

– Люди алчны и подлы, – провозгласил он и, миновав Данилова, как мебель, прошел в комнату.

Иван Кириллович Ермолов был творец. Художник. Маститый и матерый работник холста и кисти. Некогда Иван Кириллович был даже приближенным живописцем: портреты вождей партии и правительства, героев соцтруда и знат-

ных механизаторов, масштабные полотна типа «Трудовая вахта на Кержинском сталелитейном» снискали ему республиканскую госпремию, чины, регалии и деньги.

Теперь он лепил из себя стойка.

– Ты один? – спросил Ермолов, склонив голову набок.

– Как Ленин в Разливе.

– Угу. – Живописец угрюмо кивнул, обозрел обстановку, спросил хрипло:

– Пьешь?

– Прикладываюсь.

– Угу.

Ермолов так же, по-хозяйски, прошел на кухню, поморщил нос, озирая обычный беспорядок, выудил из безразмерных художнических шаровар склянку с коньяком, отыскал на столе стакан, привередливо оценил его чистоту на свет, снова поморщился, протер полотенцем, расплескал коньяк в него и в случившуюся здесь же пиалу, произнес нечто напоминающее и «твое здоровье», и «все там будем» и в три глотка опрокинул двухсотграммовый хрущевский в рот. Задумчиво пожевал губами, спросил запоздало:

– Не отвлекаю?

– Уже нет.

– Тебя уволили. – Ермолов снова пожевал губами, уверенно резюмировал:

– Это к лучшему. Ибо люди подлы и алчны.

– Не все, – пожал плечами Олег.

– Все. Даже твой покорный слуга. – Он вздохнул, глаза его подернулись слезливой поволокой... – Молодость уходит слишком быстро. Слишком. И когда приходит удача, она тебе уже не нужна. Как и успех. У человека не остается ничего, кроме прошлого. Вернее даже – горькой памяти о нем.

– У некоторых остаются деньги.

– Вот именно. Эти лукавые слуги норовят стать господами, но Творец не может позволить себе, служить двум господам. – Иван Кириллович вздохнул еще горестнее. – Другие – могут.

– Что случилось, Кириллыч?

– На аукционе в Лондоне продали мои картины. Серию картин.

– Поздравляю.

Ермолов налил себе еще, спросил:

– Чего не пьешь?

– Нет желания.

– А из вежливости?

– Из вежливости я тебя слушаю. – Несмотря на существенную разницу в возрасте, Данилов был с Ермоловым на «ты» по упорному настоянию последнего.

– Мог бы и соврать.

– Зачем?

– Я не понимаю молодых. Вам совсем не знакома щепетильность.

– Когда как. Да и не так уж я молод.

— О да. Ты знаешь, сколько заплатили за семь моих полотен в Лондоне?

Двести восемьдесят тысяч фунтов.

— Я в этом профан. Это много или мало?

— Что ты придуриваешься, Данилов? Это признание, ты понял?! Успех!

Настоящий!

— Еще раз поздравляю.

Ермолов помрачнел, одним глотком прикончил полстакана:

— Не мой успех. Чужой.

— Почему?

— Картины писал двадцатитрехлетний гений Ваня Ермолов. В одна тысяча девятьсот шестьдесят третьем году. Иван Кириллович Ермолов с его циррозом, запойным пьянством и прочими проблемами никому не нужен и не интересен. Он ничего не создал. И уже не создаст.

— Это драма.

— Иронизируешь? Ну-ну. Знаешь, человеку свойственно желать. Женщин, роскошь, хорошие вина, внимание, поклонение... Когда желания исчезают, он труп.

Но вот в чем парадокс: удовлетворение этих самых желаний калечит человека еще пакостнее! Он становится, как это называют, «рабом приятной жизни». Ему противны и подвиг, и целеустремленность, ибо они нарушают гармонию суетного благолепия. А время, его время, уходит, не остав-

для ничего по себе, кроме горечи несбывшегося. Ничего. Ничегошеньки. А если учесть, что впереди пустота и ночь...

– Прекрати плакаться, Иван. Теперь ты богат.

– Черта с два! Холсты увез мой однокашник Мося Гельман еще в семьдесят первом. Я не получу ни фунта. Люди алчны и подлы. Но... – Ермолов помолчал с полминуты, потом произнес тихо:

– Он в меня верил.

– Кто?

– Гельман. Весельчак и бездарь Мося Гельман.

– Выходит, не зря?

– Выпей, Данилов, мне трудно говорить с тобой трезвым.

Ты меня не понимаешь.

– Понимаю.

– Но пить не станешь.

– Не-а.

– А я выпью.

Ермолов наплескал себе еще три четверти, выпил разом, как воду.

– Ты хоть понимаешь, отчего я тоскую?

– Отчасти.

Иван Кириллович покивал, как распряженный строевой конь.

– Жизнь прошла. И – не состоялась. И пожалуйста, не спорь. Укатали меня.

Или я сам себя укатал? Не знаю. – Ермолов тяжело вздох-

нул. – Дай-ка мне сигарету.

Он закурил, закутался в дым, как одеяло, поднял лицо:

– Ты знаешь, ребеночек, когда является в этот мир, орет – вот он я! Я – особенный! Я – неповторимый! Я – есть! А потом что? Он подрастает, а его тюк да тюк по темечку – не высовывайся, не горлань, не гордись... Вот и затихает человек, а потом и наовсе – вязнет в интригах, чегой-то суетится по-мелкому, а на поверку – и не живет вовсе, долга своего перед природой и Богом не выправляет, так, переживает жизнишку, будто время на автобусной остановке... А придет Суд, спросят: почто, раб Божий, талант в землю зарыл да дар свой бесценный – жизнь – на похоти и суесловия расточил? Что ответить? Что?

А чтобы талант свой ощущать, нам беспокойство дано. Вроде смотришь – и все у человечка есть, и умен, и пригож, и достатком Бог не обошел, а ходит как в воду погруженный, и лето красное ему не в радость, и зима белая – в тоску и укоризну... Знать – ест его сомнение да тревога: дни лукавы, время как вода сквозь пальцы бежит, под солнышком сохнет... И вот ладони уже сухи и шершавы, и не вспомнить – а была ли вода та? Нет, не вспомнить.

Глава 17

Иван Кириллович сокрушенно помотал головой, налил себе еще, выпил. Олегу показалось, что на стуле он держится чудом. Хотя пил художник всегда, надо сказать, крепко.

– А я к двадцати годкам сохранился в непорочном девичестве. Мир – полная чаша радости, вот что! Как в стихах:

...Я забывался в яблоневах снах
Так искренне, так ветрено, так чисто...
Там был ручей, конечно, серебристым
И был совсем не сумрачным монах,
Поросший первой мягкой бородой.
Он был безгрешен, ясноглаз и весел,
И распевал стихи греховных песен,
И запивал вино святой водой!
А если в чем была его вина,
Так в том, что мир он принимал на веру,
А лести, лжи, корысти черной меру
В делах людей не видел.⁵

О, как я был легковверен! И – писал! Я писал мир ярким, яростным и страстным, жадным к жизни и чистым в своем совершенстве! Я желал, как Ван Гог, подарить этот мир людям, романтизм и идеализм! И не желал замечать ничего,

⁵ Из стихотворения Петра Катериничева.

кроме чистых цветов.

– Ермолов замолчал, словно собираясь с силами. – И меня за топтали. Крепко топтали, до костей. За чуждый классовому подходу мелкобуржуазный оптимизм, слюнтяйство, отход от принципов социалистического реализма... Хотя – что может быть губительнее для искусства, чем реализм?

Ермолов сник было, опустив голову на руки, но снова вскинулся, сверкая горячечными зрачками:

– Искус-ство... Искус... Искушение сотворения собственного мира и жизни, отличной от этой... Вот Господь и наказывает. Может, вся творческая тайна в том и состоит, что если ты решил писать честно и совестливо и обратился к Господу и Господь услышал тебя, то повел не просто вратами узкими, но через испытания тяжкие и мучительные, способные сделать сердце ранимее, а душу – зорче?... Как заметил еще Экзюпери: «Я знаю только один способ быть в ладу с собственной совестью. Этот способ – не уклоняться от страданий». Да. Страдания очищают душу. Вот только вопрос: для чего они ее очищают? Для новых, еще больших страданий? И людей более всего привлекает чужая боль, перенесенная Творцом в вечность?... А наши полотна... Они остаются все так же белы и пусты, и сил хватает лишь на то, чтобы облечь свою бездарность в парадную золоченую раму...

Иван Кириллович совсем поник. Когда он поднял голову, взгляд его был пустым, будто экран сломанного телеприемника.

– Семь холстов... Ясных, как жизнь. Написанных в тысяча девятьсот шестьдесят третьем году... Сорок лет – в пропасть. Жизнь не удалась. – Он поднял лицо, искаженное страданием. – Ты понял, Данилов? Ты видишь расплату за предательство самого себя. Нет, когда я превратился из художника в маляра, я еще утешал себя тем, что отражаю свое сюртучное время... Сначала я еще пытался оживить полотна всполохами алого или беспредельностью синего... Тщетно.

Обыденность сопротивляется жизни еще более неотвратимо, чем смерть. А серость... Серость вицмундиров оч-чень скрашивалась переливом алых червонцев, сиренью четвертных и скромной охрой сотенных... А еще – мерцающим пурпуром вина, персиковыми телами женщин, горячностью бредового веселья... Ну да, мы веселились яростно и отрешенно, чтобы как можно реже возвращаться в мир сюртуков и ковровых дорожек... Вот странно, ведь дорожки были малиновые с зеленым, а всегда виделись тоже серыми... – Ермолов неподвижно застыл на табурете, устремив взгляд в пустоту, произнес горько:

– Все было. Ничего не осталось. Ничего.

Некоторое время он так и сидел, словно мятое изваяние, поднял нездешний взгляд на Олега, спросил:

– Тебе снятся сны?

– Снятся.

– Что?

– Океан. Песок. Смерч. Девушка. Полет.

– Значит, ты счастлив. Только не подозреваешь об этом. – Он помолчал, добавил, снова погрузившись в трепетный мир выдуманных цветов:

– Нельзя обрывать полет, пока можешь летать. Нельзя.

Иван Кириллович снова налил себе, выпил, не чувствуя уже ни вкуса, ни опьянения. Улыбнулся вымученно и горько:

– Жизнь в вымышленном мире утомительна, как бессонница. Обрывки полусна-полубреда мечутся в ночных сумерках яркими всполохами, а утром не ощущаешь ничего, кроме усталости, раздражения и страха. Страх перед тем, что привиделось, страха перед одиночеством, как предтечей небытия... Страх перед новой ночью, как перед предвечной тьмой... Я боюсь снов. Все дело в том... У меня уже нет сил перенести их на холсты.

Кое-как Ермолов приподнял огрузневшее свое тело с табурета, его качнуло в сторону, но он удержался. Добрел до дверей, обернулся:

– Люди, встречаясь, чаще всего спрашивают друг друга: «Как живешь?» И никто не спросит о важном: «Зачем живешь?» Это считается бестактным. Если бы меня кто-то спросил тогда, может быть, я смог бы явить мир, что так и умер во мне?..

Ермолов отворил дверь, остановился перед проемом, как перед зияющей ямой, сказал едва слышно, почти прошептал:

– Не предавай себя, если сможешь. И даже если не сможешь, все равно не предавай. Живи.

Глава 18

Олег остался один. Вечером жара ушла, дождь заполоскал по листьям... Олег сидел и смотрел в дождливый сумрак за окном... «Зачем живешь?» Он не знал ответа. Впрочем... Это смотря что считать жизнью: если создание иных миров или иных химер, то да, его жизнь никчемна и напрасна. Ну а если... А что – «если»?

Он сделал кого-то счастливым? Или – счастлив сам? Искать ответ в книгах? О чем могут рассказать книги, кроме очевидного?... Впрочем, любовь тоже очевидна, но еще никто о ней не рассказал так, чтобы поняли те, кто лишен дара любить. Тогда – что остается? Как в мудренном пионерском девизе: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Но что искать и почему не сдаваться, когда найдешь, от пионеров скрыли. Когда Данилов сам был пионером, девизом их отряда были слова Валерия Чкалова: «Если быть, то быть первым». Какое-то время Олег даже следовал ему.

Понимание, что первенство – это одиночество, пришло потом. Когда он уже привык быть первым.

А Иван Кириллович проспится. Пусть не от жизни, а всего лишь от пьянки. А там, глядишь, вместе с хмелем пройдет и горечь. А лукавое сознание, спасая душу от раздражающей тоски, придумает прожитым годам не просто оправдание, но найдет в минувшем много глубокого, важного и цельного.

Ведь большинство живет даже не как бог на душу положит, а как нелегкая вынесет, и потом, в мирной или не очень тиши пенсионных раздумий, люди придумывают себе принципы, по которым якобы жили, и идеи, которым якобы следовали... Или ничего не придумывают, и к жизни их привязывают привычки. Закон «отрицания отрицания» срабатывает во всем своем разрушительном величии, а потому Ермолов прав в одном: мир принадлежит молодым, только они живут надеждами на блестящее будущее и иллюзиями великих воплощений, всем остальным остается лишь память о прошлом и сожаления о несбывшемся.

Звонок в прихожей снова разразился длинной переливчатой трелью. Или это Ермолов вернулся, чтобы добавить в квинтэссенцию вселенской тоски и самобичевания ноту здорового оптимизма?.. Вряд ли. После принятой дозы горячительного он витает в переменчивых чарах Алголя ⁶, а из когтистых лап этого беса вырваться не просто.

Данилов подошел к двери и распахнул ее. На пороге стояла Даша. В руках у нее была объемная сумка-рюкзачок.

– Не ждал?

– Не ждал.

– Хм... Мне что, вот так и стоять? Может, войти пригласишь?

– Входи. Только у меня бедлам.

⁶ Алголь – затменная переменная звезды Персея. Арабы называли ее именем одного из демонов зла; то же название получил у них и любой пьянящий напиток.

Девушка сбросила ветровку, повесила на крючок, трянула мокрыми волосами.

— Ну что ты на меня так смотришь? Считай, я пришла извиниться за все, что произошло там, у реки.

— Бывало хуже.

— Я имею в виду не тех, из джипа, а когда... Ну когда меня в машину, а тебя скрутили.

— Я же сказал.

— Можно мне пройти?

— Проходи.

В комнате Даша огляделась, округлила глаза:

— У тебя не бедлам, у тебя тут гибель Помпеи!

— Предупреждать о визитах надо.

— Это экспромт.

— Тогда и общий бардак в кубрике будем считать экспромтом.

— Будем.

В комнате повисло молчание. Оно обступало, как вата.

— Ну что ты застыл, Данилов? Делай что-нибудь! Предложи девушке крюшон, сигарету, чай, кофе, шоколад! Разлейся соловьем, покажи, какой ты умный и замечательный! А то ведь через пять минут я тут скисну и умру!

— Прекрати балаболить. Тебе ведь невесело, а?

— Да. Невесело. Можно я закурю?

— Валяй. Крюшона нет, а чай сейчас будет.

Данилов прошел на кухню. Задумчиво посмотрел на гору

посуды в раковине...

Выудил две пиалы, тщательно вымыл, сполоснул подошедшим за пять минут кипятком заварной чайник, высыпал более чем щедрую порцию заварки, залил, накрыл полотенцем. Вернулся в комнату, сел в кресло, закурил.

– Ну не сиди таким мрачным монументом, Данилов! На самом деле я жутко смущена, а ты... Я не знаю, как вести себя с умными взрослыми мужчинами! Не приходилось!

– Разве?

– Ну... Только как примерной дочери серьезного родителя. А самой – нет.

– Сейчас заварится чай.

Олег сходил на кухню, вернулся, расстелил на столике чистое полотенце, принес пиалы, чайник, сахар. Разлил чай.

– Ты так и будешь молчать, Данилов?

Олег пожал плечами.

– Может быть, ты думаешь, я тебе на шею пришла вешаться?

– Да нет. С чего?

– С чего... – задумчиво повторила Даша. – А ни с чего! Просто вот возьму и обниму! Оттолкнешь? Ты понял, почему я пришла?

– Тебе плохо.

Даша помолчала, кивнула совсем по-детски:

– Да. Мне плохо. Ты догадался, потому что веду себя как истеричка?

– Просто ко мне приходят люди, которым плохо. Когда им хорошо, им не до меня.

– Если людям хорошо, им вообще ни до кого. Разве не так?

– Так.

– И обижаться тут не на что. А ты правда странный. Вроде взрослый, а рассуждаешь как ребенок. И вид у тебя совсем такой же: «За что меня наказали?»

Наверное, это от незащитности. Но ведь незащитность – это не слабость?

– Нет.

– Вот и я так думаю. Она делает человека сильным и оставляет добрым.

Когда-то у меня папа был таким, только... Он всегда так боялся показаться слабым, что надел на себя маску «несгибаемая воля», и она победила его, эта маска. Он перестал замечать живых людей. И понимать. Он видит только их маски.

– И тебе от этого плохо?

– Мне много от чего плохо.

– Это просто юность. С возрастом пройдет.

– С возрастом все пройдет, даже жизнь! Только я не хочу жить в клетке и одноклеточным! Данилов улыбнулся грустно:

– Часто вся обида юности состоит лишь в том, что нам кажется, что все лучшее в этой жизни уже было и завершилось до нашего рождения... Было до нас и без нас. Или – будет

потом, но тоже без нас. Это пройдет.

– Что ты читаешь мне сентенции? Я вовсе не дитя неразумное... А ты отгораживаешься от меня этим поучительным тоном, словно забором.

– "О чем бы ни спросил бы, зачем бы вдруг да ни разжал уста, опять дежурное «спасибо», потом резервное «пожалуйста»⁷ – негромко напел Олег. – Извини.

– Это ты извини, что я тебя загружаю... Просто... Я знаю, все лучшее есть сейчас, но оно где-то не здесь, не со мной, вот что! И я загнана в какие-то рамки, мне в них тесно, неуютно, муторно, но другой жизни я не знаю и... боюсь.

А что может быть горше – тосковать о жизни и не видеть даже, а чувствовать, как она проходит мимо?..

Олег ничего не ответил, просто смотрел в одну точку.

– Прости. – Девушка подняла лицо, посмотрела на Олега, покраснела. – Я немного выпила. Или – много. Для храбрости. Больше всего я боялась, что ты меня сразу прогонишь.

– Как ты меня нашла?

– Просто. Ты же сказал, что ты журналист. Я объехала две редакции, и уже во второй мне тебя «сдали». – Девушка усмехнулась. – В хорошем смысле этого слова. А адрес дали в твоей редакции. С лестными для тебя рекомендациями.

– Да?

– Сказали, что ты желчный, злой, самоуверенный, бесцеремонный и непорядочный. Возможно даже, гуляка и лове-

⁷ Из песни Михаила Щербакова.

лас. Прямо как у Жоржи Амаду. Я была заинтригована.

– Что-то много лести для одного.

– Там такая молодая тетя с телячьими глазами. Похожая на яблоко «белый налив». С гнильцой. Как ее? – Даша наморщила лоб. – Блудилина.

– Сочиняешь.

– Да нет же!

– Мадемуазель Блудилина не выговаривает существительное «ловелас». Потому что не знает его значения.

– Ну... Она выражалась проще: «жлоб» и «подонок». Ну и всякие другие слова. А я перевела. В меру своей испорченности, начитанности и внутреннего романтизма натуры. Это плохо?

– Замечательно.

– Вот и я так думаю. – Даша взяла с пола рюкзачок, вытащила початую длинную бутылку. – Я хочу еще выпить.

– Есть повод?

– Дождь льет.

– Причина существенная.

– Ну что ты опять? Снова «свекор» проснулся?

– Бокалы в шкафу.

Даша встала, взяла из шкафа два бокала, поставила на стол.

– Нет, ухажер из тебя никакой, Данилов.

– У меня было трудное детство.

– И девчонки сами вешались тебе на шею.

– Нет.

– Я знаю. Их пугала даже не твоя серьезность, а боязнь показаться неуместными. И – глупыми. Ты всегда был таким?

– Уже не помню.

– Ты кажешься слишком умным. Это напрягает.

– Нам всем в этой жизни не хватает беззаботности. И это не зависит от возраста.

– Поэтому я и хочу напиться. – Девушка с решимостью взяла бокал, сделала несколько глотков. – Но пока еще не очень умею.

– И учиться не стоит.

– Ты думаешь? – Девушка помолчала, словно прислушиваясь к чему-то в себе.

– Странно. Мне с тобой очень хорошо.

Легко. Я где-то читала... Беззаботные и легкие люди находят себе подобных, а раздумчивые... Они очень внутренне собраны и целеустремленны, вот только оттого не легче ни им самим, ни окружающим. Они – словно «отягощенные злом».

– Злом?

– Я неверно выразилась. Просто очень много читаю. И мне порой кажется, что вся моя жизнь так и пройдет в вымышленном другом мире... А я этого не хочу и боюсь. Хотя... Порой тот мир мне кажется куда реальнее, чем этот. И уж давным-давно – добрее, сочувственнее, что ли. И хоть умом я понимаю, почему так, – его создавали люди с ранимыми и со-

страдательными душами, – а все же... Мне порой очень хочется, чтобы и этот мир хоть немножечко был таким. Добрым. – Даша допила вино, застыла взглядом. – Ты не самый легкий человек, Олег. И не выглядишь счастливым. Но мне с тобой хорошо. Где у тебя ванная?

– Тебе плохо?

– Да нет, говорю же. Но я пьяная. Мне нужно.

– По коридору налево. Только...

– Понимаю. Там так же, как и во всей квартире. Не пугает. Я скоро.

Олег остался в кресле. Шум душа сливался с шумом дождя за окном. Олег прихлебывал вино, оказавшееся славным, и ни о чем не думал. Просто слушал дождь. Или – вспоминал... О том, как сидел на подножке поезда, застывшего посреди южной выжженной степи, вдыхал теплый сухой воздух и напевал тихонечко:

«Меня несут из города колеса в палящий зной...» Ему было семнадцать, и он еще не знал тогда, как любит море, ажурную тень акаций, жаркое солнечное тепло...

«Я еду к морю, еду, я еду к ласковой волне...» А потом было вино, теплый дождь по крыше палатки, купание ночью в струящемся лунном луче, девчонка – ласковая, кареглазая, любившая легко и безмятежно, и сам он был легок и безмятежен, потому что оба они знали, что все это кончится, как только кончится лето... О: вспоминал. Или – просто слушал дождь.

Глава 19

Олегу снилось, что он плывет в солнечном луче. Луч был теплым, и море обволакивало тело струящейся лаской, и не было никаких мыслей, только ощущение счастья. Он зажмурился, почувствовал, словно ветерок скользнул по ресницам, и – открыл глаза.

Даша стояла, наклонившись к нему, дуновение ее губ было легким, невесомым и очень нежным. Олег хотел что-то сказать, но она приложила палец к губам...

Девушка стояла перед ним нагая, в ее глазах переливалось глубокое море, и оно было наполнено золотыми искорками затаенных желаний... И кожа ее пахла солнцем.

Олег осторожно коснулся ладонями ее бедер, притянул к себе, нежно и властно, чувствуя, что стал легок и безмятежен... Горячая волна накрыла его с головой, мир полетел в тартарары, и не осталось в нем ничего, кроме его уверенной воли, юного тела девушки, ее податливой гибкости, ее горячего прерывистого дыхания...

Словно раскаленный смерч притянул их друг к другу и понес с непостижимой скоростью, заставляя замирать на невыразимой высоте, падать отвесно вниз и, едва приблизившись к земле, снова и снова подниматься невесомо в бездонное небо...

Даша лежала на спине, глядя перед собой широко раскры-

тыми глазами, и они были полны слез.

– Тебе плохо? – встревожился Олег.

– Глупый... Мне так хорошо, как не было никогда. И не говори ничего, пожалуйста... – прошептала Даша, повернулась к нему, прильнула, затихла, уткнувшись мокрым лицом в плечо.

Некоторое время они лежали в молчании, потом Даша чуть отстранилась, положив голову на ладошку:

– Ты не думай... Я действительно не хотела вешаться тебе на шею, просто...

Я почувствовала что-то и не смогла и не захотела сдерживаться. Ведь тебе тоже не хватает любви? Ее всем не хватает, а люди часто живут как за частоколом, стараясь восполнить недостаток любви избытком денег, положением в обществе, карьерой... Самое грустное, что некоторым это вполне удается. А я... Когда мы сидели и разговаривали, я вдруг испугалась, что еще немного, и мы заболтаемся о неважном и второстепенном, я почувствовала, что этими словами мы словно строим стену, что еще немножко, и уже ни ты, ни я так и не решимся эту стену ни преодолеть, ни сломать, и так и останемся чужими... Навсегда, словно никогда и не встречались... И исправить это будет уже нельзя.

Даша вздохнула прерывисто, и Олег услышал в ее вздохе такое волнение, будто она только что избежала близкой смертельной опасности. Девушка посмотрела на него пристально и – заговорила снова: быстро, сбивчиво, словно бо-

ясь, что не успеет сказать:

– Люди ведь приходят в мир нагими и беззащитными, как мы сейчас, и жаждут любви, и выживают только благодаря ей, и запоминают ее навсегда, и хранят в своей душе, как крохотные огоньки, как звездочки в черной ночи... А потом любовь становится помехой... Карьере, деньгам, власти... Ведь в любви все просто – чтобы получить, нужно отдать даже не столько же, а много больше, и отдать не по принуждению или договору – по своей воле, всю себя – без выгод, без сомнений, без остатка... Любовь для этого мира странна, но только она – и есть сущее. Любовь не требует взамен ничего и желает всего.

Даша заглянула Олегу в глаза, снова вздохнула, улыбнулась счастливо:

– Как хорошо, что ты умеешь слушать. И – понимать. Мне ведь порой совершенно не с кем поговорить. Совсем. Папа занят делами, остальные... Смотрят с кривою усмешкою и думают, наверное, про себя: «Богатые тоже плачут...» и «Мне бы ее заботы...».

Олег ничего не ответил.

– Я что-то не то сказала?

– То. Но тебе от этого не радостнее. И откуда ты такая умная взялась, Даша?

– На твою голову?

– Ну что ты...

– Я знаю, умной быть плохо, так жить труднее, нужно хо-

тя бы прикидываться душой, а у меня не получается. Да и... не перед кем мне прикидываться. Ни умной, ни глупой, ни какой! Я же говорю... Папе всегда до себя или... Ну а остальные... Они смотрят на меня или с подобострастием, или с завистью, смешанной со злорадством.

– Многим хуже.

– Что мне до них? Вся грусть порой и в том, что часто окружающие ставят мое положение мне в вину. Ну не чувствую я за собой никакой вины, ты понимаешь, не чувствую! Кроме...

– Да?

– По-моему, папа хотел сына, а родилась я. Но я же не виновата...

Вернее... Все дело в том, что мне совершенно неинтересно то, чем он занимается, вернее даже, мне неприятны люди, с которыми он имеет дело, мне противны их лесть, спесь, неискренность... Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на неискренних, жадных, себялюбивых.

– Откуда ты знаешь про краткость жизни?

– Я не знаю. Я это чувствую. – На мгновение Дашино лицо сделалось замкнутым и почти несчастным. – Мне было всего четыре с половиной, когда умерла мама. Поэтому для меня она осталась совсем молодой. И папу я даже очень хорошо понимаю: он так и не женился больше, и все связи его были кратковременны и необязательны. А ведь ему, наверное, очень хотелось, чтобы его любила какая-нибудь хоро-

шая женщина, любила просто так, за то, что он есть... Но он боялся поделиться частью своей любви с кем бы то ни было, чтобы не обделить меня... И что получилось? Порой мне кажется, он просто-напросто разучился любить. Совсем. – Даша вздохнула. – Нет, не знаю, что со мною происходит. Не знаю. Я тебе еще не надоела?

– Нет.

– Значит, скоро надоем. Очень боюсь быть навязчивой и, наверное, оттого становлюсь такой. Мои однокурсники...

– Сколько тебе лет, Даша?

– Семнадцать. Школу я уже год как закончила. – Девушка вздохнула. – Моя беда в том, что я не вписываюсь в возраст. Мне совершенно неинтересны дискотеки, наряды, карьера. За границей мне скучно, у нас – маетно. Хотя... – Взгляд девушки стал удивленно-беспомощным. – Вот странно, я сейчас счастлива. И я знаю, что этот день я буду помнить всегда. И шелест дождя по листьям, и комнату, и картину на стене. Только море на ней какое-то суровое. А я люблю когда оно сонное, ленивое, томное, как уставшая от любви женщина. – Даша потянулась всем телом, улыбнулась. – Хочу вина.

– Вина у меня нет.

– У меня есть. Еще целая бутылка.

– Из папиных погребов? Дашины глаза потемнели.

– Ага. А еще там – пшеница россыпью, серебро кубышками, баксы пачками и золото в слитках! Почему ты хочешь меня обидеть?

– Извини, – искренне смутился Олег. – Я совсем разучился общаться.

Даша закрыла лицо руками:

– Это ты извини. Сама хороша: бросаюсь на тебя, как дикая кошка из дикого леса. – Девушка легко соскочила с дивана, прошлепала босыми ногами к столику, наклонилась, вынула из сумки бутылку, вернулась, запрыгнула под одеяло:

– Открывай.

Олег не без труда справился с пробкой.

– А бокалы?

– Не нужно никаких бокалов. Так вкуснее. – Она сделала глоток, передала:

– Будешь?

Олег отрицательно покачал головой.

– Ну и как знаешь. А музыка у тебя есть? Только что-нибудь ласковое.

Олег нагнулся с дивана и нажал клавишу стоявшего рядом кассетника. Мелодия была простой.

Переживем еще одну влюбленность
И станем старше ветреных оков -
Весенних душ сиреневую склонность
Махнем на звон утерянных подков,
И обретем покой и постоянство,
И обменяем сны на миражи...
Не по годам мне грустное гусарство
И забытие из предрассветной лжи.

А все же жаль всего, что не случилось,
Не состоялось или не сбылось,
И ваша отстраненная немилость
Не перейдет ни в сдержанность, ни в злость.
Ну что ж – спешу я дальше по рассветам,
По ласкам волн, по шороху листвы,
И может быть, льяным лукавым летом
Меня полюбит кто-то, но не вы...
Переживем... переживем. ⁸

– Простые слова, – зачарованно произнесла Даша. – Все в этой жизни, о чем нельзя сказать просто – совершенно не важно, правда?

– Правда.

– "Ты у меня одна, словно в ночи луна..." ⁹ – напела де-вушка. – Помнишь эту песню?

– Да.

– Ее сейчас совсем не знают. И не поют. Жалко. Мои ровесницы склонны усложнять себе жизнь, думая, что упрощают ее. «Девочки бывают разные – черные, белые, красные...» Может быть, кто-то и желает «заморочиться» и вести себя этакой заборной доской, бесчувственной и звонкой, которой все – «по барабану» и «об стенку горох», боясь очаровываться, чтобы не потерпеть разочарований и защищаясь от жизни... А на самом деле каждая мечтает втайне о том,

⁸ Песня Петра Катериничева «Переживем еще одну влюбленность...»

⁹ Из песни Юрия Визбора.

чтобы стать для кого-то хоть лучиком звезды... «Можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти – только свети, свети...» – Даша погрузила, повернулась вдруг к Олегу:

– Я тебя не раздражаю?

– Нет. С чего?

Даша рассмеялась:

– По-моему, я только и делаю, что учу тебя жить. Или – навязываюсь.

Впрочем, это одно и то же.

Пригорюнилась Даша тоже вдруг, так, как бывает только в ранней юности – словно малая тучка набежала да закрыла солнышко, но лишь затем, чтобы оттенить красоту летнего дня и исчезнуть, оставив по себе лишь легкую грусть, неведомую, неосязаемую и чистую, как воспоминание о снеге.

– Странно... – шепотом произнесла девушка. – А сейчас мне вдруг показалось, что все это со мною уже было... И я помню и эту комнату, и песню, и вкус вина... И тебя знаю уже тысячу лет... У тебя так бывает?

– У меня сейчас так.

– Странно. Мы даже не знаем друг друга. Но я еще там, у реки, почувствовала, что... Нет, даже не то, что нравлюсь тебе, совсем другое... Что ты любишь. И мир этот любишь, и людей, и воду, и деревья, и солнце, а он тебя словно не замечает, он равнодушен и безразличен к тебе, и оттого тебе так одиноко... Может быть, я все это просто придумываю? –

Даша склонила голову чуть набок, пристально посмотрела на Олега:

– Нет, не придумываю. Все так и есть.

Девушка закрыла глаза, потянулась к Олегу, тела сплелись, их закружило медленным вихрем... Вихрь двигался неторопливо, грациозно, лиственным водоворотом в осеннем парке, будто танцую полный сдерживаемой страсти пасодобль, вбирая в себя все вокруг, – и запах дождя, и листья, и проблеск дальней реки, и ветер, и звезды... И вот – он словно наполнился неведомой неистовой силой, и закружил смерчем, и – понес их, беззащитных, в бездонную чашу неба, и дальше – к звездам. И они замирали в необозримой высоте, полной льда и света, и свергались вниз, и поднимались снова, и – снова замирали, наполненные трепетом сладостного падения и предчувствием, предвосхищением нового взлета...

...Потом они лежали, обессиленные, в сладкой полудреме, а комнату уже скрадывал сумрак ненастного предвечерья. Двор утонул в дожде, деревья тихонечко дрожали под падающими каплями, а те стучали по жестяной кровле балкона, разбивались на тысячи брызг, пропадали в зелени травы, в цветах жасмина, стекали по стеклу, делая его похожим на отлитое мастером произведение, а мир за окном – на влажный и сонный мираж.

– "Ночь притаилась за окном, туман рассорился с дождем", – вполголоса напела Даша, вздохнула. – Знаешь, Олег, чего я очень-очень боюсь? Что завтра к тебе придет то,

что взрослые люди называют «благоразумие», и ты... мы... мы больше не увидимся.

– Мы увидимся, девочка.

– Правда?

– Да. Мне хорошо с тобой.

– Мне с тобой тоже хорошо. Очень. Спокойно и просто. Только... Ведь бывает так, что...

– Бывает. Но не с нами.

– Ты можешь быть очень уверенным. И мне это нравится. – Даша внимательно посмотрела ему в глаза, сказала:

– Но выглядишь очень утомленным.

Олег лишь грустно улыбнулся в ответ:

– От одиночества я устал еще больше, чем ты от юности.

Глава 20

Грифа не оставляло беспокойство. Кажется, он предпринял все необходимые шаги и сделал все необходимые распоряжения, а все же, все же... Смутное ощущение чего-то неучтенного, упущенного не покидало его, отравляя существование. Или это просто дождь? В окно Гриф видел сочную темно-зеленую крону каштана. По правде сказать, Гриф терпеть не мог эти деревья-вампиры – кому пришлось в голову засадить ими весь город? По-деревенски разбросанный и щедрый, в такие вот ненастные дни город походил на средневековую крепость – угрюмую, мрачную, тревожную, и было в этом что-то от уединенного безумия ноябрьского Петербурга.

Самое противное, что дел не было никаких. Оперативное и информационное обеспечение всех сделок по трубопроводам и по западным кредитам происходило столь скоро и качественно, что не оставляло доморощенным олигархам никаких иных шансов, кроме получения специально нарезанных и не слишком жирных кусков с монаршего стола. Все остальные вообще довольствовались крошками.

Но беспокойство не оставляло. Данилов? На его статью реакция была вялой: если что-то и зрело, то пока подспудно, тайно, как лава в вулкане. Но гора уже набухала, как нарыв, искала выхода, и он, Гриф, не знал, где и как прорвется эта

непредсказуемая энергия. В Княжинске все тихо, как на погосте; все устоялось, устаканилось, утряслось, все поделено и расписано так, что и лезвию ножа не протиснуться, но... Гриф верил своему беспокойству. Олег Данилов, конечно, не фигура и даже не фигурант. И здесь Вагин прав: «стереть» его так же просто, как придушить подвального бомжа. Но он – индикатор. Кто-то же его проинструктировал. Или использовал. Нет, Гриф не верил в такие совпадения, как появление нужного скандала в нужном месте только по прихоти случая. Особенно в делах, касающихся нефти, газа, алюминия и – денег. Хотя... Парадокс состоял в том, что людишки чаще до крови собачатся и убивают себе подобных за самую мелкую мелочь, а вот когда речь идет о десятках или сотнях миллионов долларов, о миллиардах – здесь ни стрельба, ни взрывы не уместны. Можно ведь и «ответку» получить. А потому действует как бы негласный мораторий на убийство в среде самых-самых. Нет, бывают, конечно, и исключения... То – самолет рухнет при взлете, то – самосвал не сумеет разъехаться с лимузином на пустынной дороге...

Всякое случается. Ликвидации перестали быть демонстративными, но от того не сделались менее фатальными.

Впрочем, героев не осталось. Деньги покупают все. Погибают те, кто не понял: торг закончен, им сделано предложение, которое нельзя отклонить. В торгашеском азарте они продолжают нахваливать «товар» – свою партию, голоса своих избирателей, стоящие за ними миллионы и миллиар-

ды долларов и – пропадают, убаюканные комфортом автомобилей, вышколенностью прислуги, мордovorотостью охраны, ласками любовниц, верностью сторожевых псов. Решение уже принято, и отменить приказ нельзя, как нельзя остановить селевой поток или лавину. И все искусство и жить, и выживать среди «сильных мира сего» состоит лишь в умении отличать крайнее предложение от последнего.

Гриф потрянул головой. Что-то мысли сегодня были невеселые. Совсем невеселые. Дождь. Нужно заняться делами. Ибо Действие рассеивает беспокойство.

Да и... Если он, Гриф, прошеплет реальное вмешательство в здешние дела чужих – будь то отдельно взятые олигархи или госструктуры, никто не станет делать ему предложение, ни крайнее, ни последнее. В этой шахматной партии он тоже не фигура; его просто сшибут с доски ударом начальственного ногтя. А уж будет этот ноготь монаршим или лакейским – ему тогда станет без разницы. Покойники не тщеславны.

Гриф поежился. Сегодня с ним творилось нечто совсем скверное.

Предчувствие? К черту. Действие рассеивает беспокойство. Действие и ничего, кроме действия.

Гриф нажал кнопку селектора:

- Вагин готов к докладу?
- Да, Сергей Оттович.
- Пригласите.

Серый Йорик появился через две минуты. Застыл у стола как изваяние.

– Ну и как наши дела?

– Простите? – Вагин моргал белесыми ресницами бесстрастно и равнодушно.

– Ты ждешь конкретный вопрос?

– Да.

– Хм... А давай на этот раз поступим иначе. Сам распредели все по степени важности и – докладывай.

Вагин продолжал стоять бессловесным изваянием.

– У тебя проблемы со слухом?

– Нет. Просто...

– Договаривай.

– Вопросы делятся на те, что действительно являются важными, и на те, каковые выжными считает начальник.

– Все это казуистика. Я жду, Вагин, жду. И не нужно мне льстить – начинай с того, что ты считаешь главным.

Вагин неуклюже кивнул – словно боднул головой на негнущейся шее неподатливое пространство.

– Статья Данилова нашла отклик. Пока лишь в изданиях холдинга Раковского.

– Вот как? – оживился Гриф. – И что дельного пишут?

– Кружат пока, как грифы над падалью, – произнес Вагин, смутился, и даже вечно пепельное лицо его стало цвета приваренного буряка. – Прощупывают почву, – поправился он.

– Грифы над падалью... Нефть и газ, мой дорогой Вагин,

и их как легальный, так и э-э-э... негласный реэкспорт – это не падаль. Совсем не падаль, ты понял?

Нефть – это кровь, и вовсе не кровь экономики... Те-е-епленькая такая кровь живых людей... Солдат, заложников, бандитов, наемников, воинов ислама, офицеров удачи, флибустьеров наживы, рыцарей преисподней... Равно как и мирных граждан с любой из воюющих сторон, гибнущих под обломками домов с одинаковой болью, тоской и отчаянием. Даже не важно, что нефть, эта безликая, пряно пахнущая маслянистая жидкость, еще скрыта под шельфом Каспия – кровь за нее льется уже сейчас! Людская кровь! Алая. Впрочем, проливают ее не первый год и даже не первый век...

Вагин, глядевший на Грифа всегдашним своим пустым взглядом, даже сморгнул несколько раз, что должно было означать смущение... «Вселенские» откровения Грифа были ему столь же непонятны, как цифирь для папуасов. Вернее, он относился к ним, как здравомыслящий человек относится к бредням поэта или сумасшедшего.

Гриф прикрыл глаза, помассировал подушечками пальцев веки. Да, совсем что-то неладно с настроением. Совсем.

– Что у тебя еще? – спросил он резко.

– Реймерс негласно встречался с Головиным.

– По поводу?

– Достоверно выяснить не удалось.

– А недостоверно? Гипотетически?

– По мнению наших аналитиков, речь шла о двух вещах: о

перемирии в «железной войне» — цены на прокат на мировом рынке падают, импортеры давят, и воевать в этих условиях — роскошь непозволительная.

— А вторая вещь?

— По нашим сведениям, они готовы вложить деньги в строительство газонефтепровода через Полесье, в обход нас. И сегодня обсуждали пакетное соглашение. Эмиссары обоих уже сидят и в Москве, и в Париже, и в Минске.

— Вот как?

— Гипотеза, но подкрепленная некоторыми косвенными источниками. И Головин, и Реймерс не хотят упускать свой кусок пирога.

— И желают загодя присоединиться к победителям. Ничем не рискуя.

— Кроме денег.

— Риск при сильной заинтересованной власти — почти минимален. И в Минске, и в Москве сейчас как раз такая. — Глаза Грифа остались холодными и блеклыми, он развел губы в улыбке и закончил невыразительно и тихо:

— Не так ли, Вагин?

— Времена лукавы.

Глава 21

– Ты заговорил афоризмами, Вагин? – Гриф даже не старался скрыть искреннее изумление. – Писание перед сном почитываешь? Это человек слаб и лукав, а времена... Времена все те же. – Гриф помолчал, спросил:

– А что там с нашим беллетристом?

– С Даниловым?

– Именно. Все, о чем ты сейчас гундел, – хоть и наболевшее, а рутинное варево. Привыкли мы и к интригам Реймерса, и к своеволию Головина. А статейка – ни в какие наши реалии не вписывается, всем поперек горла, мне уже с недоумениями из поднебесных кабинетов звонили, знать хотят... то же, что и я: кто за этим стоит? Кто станет заказывать музыку на будущих парадах и похоронах.

Подходы к Данилову отработал?

– Отрабатываем.

– И как именно, если не секрет? – произнес Гриф с издевкой. – Что наша милая Анжела? Проявила артистический талант и творческую фантазию?

Вагин замялся:

– Пока вывести ее на контакт не удалось.

– Вот как? А что удалось? Чего ты ждешь, дорогой? Небесного знамения или дождичка в четверг? С дождичком – все в порядке, а знамение будем считать процедурным во-

просом, к делу не относящимся. Что конкретно сделано? Квартирку обложили?

– Установили наблюдение.?

– И «ушки» подвесили?

– Не было возможности.

– Что так?

Вагин замялся.

– Чего ты егозишь, как нищий на скользкой паперти? Поставлю вопрос иначе: что не так?

– Люди там какие-то крутились.

– Где – там?

– У квартиры Данилова. Да и раньше...

– Та-а-ак. Тогда излагай не по значению, а по порядку.

– Вчера Данилов вернулся откуда-то побитый.

– Вот как? Откуда?

– Выяснить не удалось. Плотное наблюдение за ним только с утра.

– Насколько побитый?

– Ссадина на надбровье.

– И с кем же он махался, малахольный?

– Не могу знать. Но утром у него снова был конфликт.

– Вот как?

– В питейном баре, недалеко от дома. Вступился за кого-то. Здорово намял ребятам бока.

– "Рембо: первая кровь". Занятно.

– Подъехала милиция. Завели дело.

– Очень занятно!

– Наши люди отщелкали все на пленку. И еще: за Даниловым, помимо нашей, наблюдала по меньшей мере еще одна группа.

Гриф потер ладони, в зрачках загорелся огонек азарта.

– Карусель? ¹⁰.

– Вряд ли. Данилов легко сорвался. Отсутствовал весь день. Где был, с кем встречался – неизвестно. Вернулся только затемно.

– Прелестно. Ну что ж, майн либер Вагин, что не сделано, я понял. Теперь о том, что сделано.

– Оформить квартирку Данилова мы не сумели. Люди, что маячили там, маячили демонстративно.

– Вот как?

– Да. Нашим я тоже отдал подобный приказ. Зато за этой «завесой» нам удалось втихую оборудовать квартирку в доме напротив. Аудио-и видеоаппаратура, лучшие спец.

– Да? И чем сейчас занят наш ставший таким популярным в определенных кругах литератор? Пишет очередной пасквиль? Ваяет роман века? Пьет водку?

Гоняет пришлых тараканов? Спит?

– У него женщина.

– Женщина? Ну, что ты замолчал? Матрона, патронесса,

¹⁰ Карусель – проведение наружного наблюдения или иной спецоперации, в которой задействовано одной или несколькими сторонами значительное количество людей, автомобилей, систем связи и т. п. (сленг).

кокотка, шалава, бикса, шалашовка или – товарищ? Шевели извилинами, торопись, время ждет не всех, а уж дает от щедрот вовсе не каждому, лишь тем, кто успел! Ну?

– Девчонка. Весьма юная.

– Откуда она взялась?

– Сама пришла.

– Когда?

– Сегодня вечером. Может, старая знакомая?

– Это ты меня спрашиваешь, Вагин?!

Помощник потупился, промолчал.

– Отменно. И сейчас они заняты музицированием в четыре руки. Что ты молчишь, Вагин?! Ответь мне, по-чему старая юная знакомая нашла время зайти к нашему одинокому бизону, а милая, стройная и талантливая Анжелика – не нашла?

– Не было случая организовать знакомство.

– А кому-то случай представился, так? Может быть, Реймерсу? Или – Раковскому? Или – Бархатову с Головиным? Случай, Вагин, не ищут, его – готовят!

И в жизни так, а уж в нашей профессии – подавно! – Гриф раздраженно поморщился, закончил:

– Не ожидал от тебя таких проколов. Не ожидал. – Гриф вздохнул, вынул из коробки сигарету, прикурил. – Чем еще порадуешь?

– Она приехала на автомобиле, эта девчонка.

– Я догадался, что не на троллейбусе.

– Сергей Оттович, она вполне может быть старой знакомой Данилова, а то, что зашла именно сегодня, – действительно случайность.

– Вагин, я очень подозрительно отношусь к случайностям, если они влезают в мою разработку! Ты понял? Не терплю! Даже если это сель, оползень или шаровая молния! Тебе что, не ясен психологический тип Данилова? Он одинок, утомлен, издерган своим одиночеством до отчаяния, он не желает мириться с тем, как живет, а сил собраться – нет, не для кого ему покорять мир, вот он и мается! И опус свой – отмасты той сочинил, жестко, правдиво, потому что ничего и никого не боится, не за кого ему бояться и терять ему, кроме постылости, нечего, ты понял?! Да на девчонку его теперь поймать – как весеннего медведя на мед; он умный, да со слепу и с тоски своей не разберется, царевна его избранница или тварь продажная! – Гриф утомленно перевел дыхание, закончил:

– И не мы одни, Вагин, такие разумники, и не нас одних заинтересовали эпистолярные способности Данилова! И важно даже не то, что он в своей статейке сказал, а то, о чем смолчал. Теперь ты понял?

– Виноват.

– Машину установили?

– Устанавливаем. Но то, что это не ее машина, – ясно и так. На ней дипломатические номера.

– Час от часу... Чьи?

Вагин назвал одну из стран.

– Девчонку засветили?

– Нам удалось снять ее, но снимок в полупрофиль... Да и четкость изображения оставляет желать... Дождь, воздух мглистый, дифракция...

– И откель ты нахватался таких ученых слов, Вагин? Все это пыль, мусор, а таскать в такой голове, как твоя, еще и хлам бросовый – совсем никудышная затея. Плохому танцору мешают собственные причиндалы, плохому актеру – зрители, плохому стрелку – не ко времени влетевшая в его голову чужая пуля. Вагин, знаешь, чему ты так и не научился?

Подчиненный только вздохнул.

– Быстроте. Скорости. Это жизнь – соревнование на выносливость, а оперативная работа так и называется потому, что нужно успевать. Иначе кто-то успеет за тебя или вместо тебя. Фото!

– Что?

– Фото этой нимфы! – Гриф требовательно протянул руку. Вагин суетливо порылся в папке, достал несколько снимков, передал Грифу.

Гриф скользнул по фотографиям беглым взглядом, лицо его на миг словно поглупело, удивленно вытянулось, он поднял взгляд на помощника, потом выдернул ящик стола, на ощупь достал лупу, рассмотрел детали фотографий более тщательно, откинулся на стуле, расслабил узел галстука:

– Выпить не хочешь?

– Простите?

– Бог простит. – Гриф встал из-за стола, подошел к шкафу, открыл, налил коньяк в толстостенный стакан, осушил одним глотком, вернулся в кресло, еще раз глянул на фото, спросил:

– Она приехала одна?

– Да.

– Ни сопровождающих, никого?

– Нет.

– "Хвосты" за ней были?

– Такой задачи наблюдателям не ставилось, но явную слежку или сопровождение они бы заметили.

– Значит, эта юная леди прикатила самостийно и самочинно, да еще и на чужой машине?

– Одолжила у кого-нибудь. Для форсу.

– Для форсу? – Гриф откинул голову назад и искренне рассмеялся. – Надеюсь, она приехала не на лимузине посла? С расчехленным флагом?

– Нет. «Форд-эскорт», с иголки.

– С иголки, с ниточки, с кондачка... – машинально проговорил Гриф, напряженно размышляя о чем-то своем. – Что я говорил про случай?

– Случай нужно не ждать, а создавать, – педантично воспроизвел Вагин.

– Это так. Но лишь тогда, когда за игровым столом только ты и еще – пара-тройка предсказуемых игроков. А что Фор-

туна, что Судьба – дамы своенравные, кокетливые и полет их воображения смертным понять не дано... Можно лишь ощутить или – как шлейф благосклонности, или – как покров отверженности, ну дай бог, чтобы последнее не про нас... Случай... Как говорят в народе, там, где Бог не поможет, там черт нашабашит. – Гриф посерьезнел. – Вот что, Вагин.

Даю тебе час времени, и чтобы ты мне узнал доподлинно, что делал вчера Олег Владимирович Данилов после аудиенции у Фокия. По минутам. Кто рассек ему бровь и почему. Сдается мне, этому молодцу не так просто набить «портрет». Это первое.

Второе. С кем и почему он махался сегодня в кафе поутра-ни. Кто такой милицейский капитан и что за протокол составлен «по следам событий», так сказать.

И третье. Передай своим людям, там, в квартире, чтобы сидели ветошью, тихо сопели в две ноздри и держали уши разутыми и глазенки раскрытыми! И не дай им бог хоть во что-то в этой запутке влезть!

Вагин кивнул. Если у него и было желание узнать, кто эта девушка на фотографии, на лице не отразилось никаких эмоций. Дисциплинированность была у Вагина даже не свойством характера, а основополагающим принципом бытия: это позволяло жить внутренне спокойно и комфортно и не нести за свои поступки, какими бы они ни были, никакой ответственности даже перед собственной совестью.

– Ступай, Вагин. И передай Светлане, чтобы вызвала Сы-

тина. Пора покалякать с Эдуардом Николаевичем о делах наших скорбных... Ну а случай... – Гриф улыбнулся, глядя прямо перед собой невидящими глазами. – На случай надеяться нельзя, но нужно быть к нему готовым.

Гриф уселся в кресло и остался сидеть неподвижно, уставясь в матовую поверхность стола. Вагин попрощался кивком и пошел к дверям. Походка его была размеренной, вот только спина – напряженной, чем обычно. Вагин чувствовал раздражение: Эдуард Николаевич Сытин был в их системе координатором «негласных силовых акций». Эвфемизм никого не обманывал, да и внешность самого Эдуарда Сытина, этакого надрывного весельчака, дергающегося, словно на проволочках, сыплющего несмешными прибаутками и похабными побасенками, с вечно воспаленными, будто от недосыпа, веками и глазами затравленного ночного зверя, страшила Вагина: этот человек означал беспокойствие и непредсказуемость, глубоко противные и чуждые натуре Серого Йорика. Каждый раз, имея дело с этим субъектом, Вагин в глубине души надеялся, что их следующая встреча не состоится: Эдичка где-нибудь свернет себе шею или словит пулю. Но пока происходило обратное, что вызывало у Серого Йорика искреннюю досаду. Нет, Вагин никогда не был противником «силовых акций», но полагал, что и в смерти должен быть свой порядок; привнесение в это аккуратное ремесло куража, азарта и удали, чем всегда грешил Сытин, казалось Вагину сродни нарушению субординации по отноше-

нию к такой серьезной и мрачной даме, как смерть.

Уже прикрывая за собой дверь, Вагин заметил, как Гриф снял трубку с аппарата правительственной связи.

Глава 22

Кошка мягко спрыгнула с подоконника, подошла к дивану, выгнулась, потягиваясь, и бесцеремонно запрыгнула на постель. Свернулась в ногах и заурчала умиротворенно.

– Мы уснули. – Даша привстала на кровати, посмотрела на часы, вздохнула.

– Тебе пора? – спросил Олег.

– Наверное.

– Почему «наверное»?

– Это смягченная форма «да».

– Заумно. Но факт.

Олег сделал попытку подняться, но Даша уложила его обратно, прижав ладони к груди.

– Лежи. На чашку кофе время еще есть. Я приготовлю.

– Готовить кофе – это ритуал. И заниматься этим должен мужчина.

– А я хочу другого ритуала: как будто ты мой мужчина, давно мой, и потому все будет обыденно и просто. Как должно быть дома. Ладно?

– Ладно.

– Как зовут твою кошку?

– Катька. Но это не моя кошка.

– А чья?

– Она сама по себе.

– Как все кошки. А откуда ты знаешь, что она Катька?

– Она представилась.

Кошка приподнялась, недовольно мяукнула, когда Даша попыталась ее погладить, и – прыгнула на пол.

– Независима, как американская Свобода. Наверное, ревнует. – Даша улыбнулась. – Мелочь, а приятно.

– Что именно?

– Что считает меня достойной соперницей. Ты только посмотри, сколько в этом зверьке грации!

– Кошки – это маленькие львицы. А мухи – маленькие птицы. – Олег подумал, подытожил:

– Стихи родились.

– Данилов, ты поглупел! Ты очаровательно поглупел! Жди кофе.

– По-турецки?

– По-американски. Instant. Слабый, теплый, с сахаром.

– Божественно.

– Не слышу энтузиазма.

– Энтузиазм противопоставлен обыденной и простой жизни.

– Я скоро.

Олег закурил, воровато оглянулся на дверь кухни, подхватил с пола полупустую бутылку с вином и сделал три больших глотка. Откинулся на подушку, бессмысленно улыбаясь и даже не допуская мысли, что... Хотя... Само недопущение какой-то мысли означает только одно: сомнение, эта самая

разрушительная из эмоций, уже шевелится в сердце, и вслед ей придут и уныние, и тоска, и одиночество... Невыносимая легкость бытия, непереносимое ощущение счастья...

Все так хорошо, что человек желает сохранить это навсегда, и начинает размышлять, как это сделать, и напрягает мышление, логичное, суровое и абсолютно беспомощное в своей логике у мужчин, и слезливо-неустойчивое и абсолютно беспомощное в жалости к себе – у женщин... А воображение уже обрушивает на бедного человечка все возможные и невозможные горести и печали, все грядущие разочарования, все мыслимые потери... И он, словно загнанный зверек, ищет первопричину таких несчастий и – находит! Она – в ощущении счастья, которое невозможно удержать! И чтобы освободиться от страха потери, остается только разрушить это самое счастье... Укоризной, воспоминаниями прошлой свободы, мечтами о мире там, за стенами дома... И вот – дом уже превратился в жилище, и человек – снова одинок, уязвим, невесел, и жизнь его катится по опостылевшей колее убогою бричкой, и только сны о летящих всполохах упорхнувшего счастья оставляют надежду: пока жив, все повторится! Обязательно повторится! Выбери себе жизнь и – живи!

Впрочем... Все эти мудрствования пусты и никчемны. Человек часто пропускает жизнь потому, что живет именно воспоминаниями о прошлом и надеждами на будущее, теперешнее свое существование полагая лишь прелюдией че-

го-то значительного, цельного... А жизнь проста и мудра: живи настоящим и получай удовольствие от того, что имеешь сейчас. И можешь при этом представлять себе прекрасное прошлое: никто в твоём прошлом у тебя ничего уже не отнимет, и блестящее будущее: оно не в твоей власти. Живи.

Олег потрянул головой. Стоило Даше уйти, и он снова занудственно поумнел.

Если бы это напрягало лишь окружающих... Самого себя он изводит куда горше.

Олег нагнулся с дивана и ткнул клавишу кассетника.

Не видны в полутьме глаза, И нет места привычной лести. Что могу я тебе рассказать Полусонной, рассеянной песней?

Я то груб, то ласков, то смел,
То – податлив кошачьей шерстью,
То – растерянно-неумел,
То – пророчу ветреным вестником...
Я за грубостью прячу страх
И за лаской потерянность прячу.
Я боюсь в полутемных глазах
Прочитать, что ничто не значу.¹¹

Даша вернулась, закутанная в махровый халат Олега: он доходил ей до пят. В руке ее была большая кружка с кофе. Девушка уселась на диван, подобрав под себя ноги.
– Держи. Это нам на двоих. И кофе у тебя больше нет.

¹¹ Песня Петра Катериничева «Не видны в полутьме глаза...».

– Не важно. – Олег отхлебнул горячий напиток.

– Ну как?

– Мокрый.

Даша рассмеялась, откинувшись, полы хадата распались, Олег перегнулся с дивана, поставил чашку на пол, одним движением сдернул халат с плеч девушки...

– Ты просто... – прошептала Даша. – Да...

И снова вихрь сорвал их и понес за собой... На этот раз он был резким и мощным, словно порыв шквального ветра, и сила его не убывала, и он несясь сквозь остановившееся время, сметая с трав золото листьев, врываясь в бойницы крепостей и замков, разметывая пламя высоких ритуальных костров... Лишь короткие девичьи вскрики прерывали на мгновение этот безумный полет, и она открывала глаза, невидяще смотрела в темноту и – уносилась снова, захваченная безудержным ритмом шального шквала... Теперь словно вершины древнего Тибета проплывали где-то внизу, полускрытые тяжкими, напитанными ливнем тучами и освещаемые грозовыми разрядами, а двое летели все выше, пока яростная белая вспышка не затмила весь мир и они сверглись вниз вместе, орошаемые теплым муссон-ным ливнем...

...Даша подняла мокрое от слез лицо, провела пальцами по губам, посмотрела на Олега, обняла его, прильнула, хотела что-то сказать и не смогла. Прошептала только:

– Я тебя люблю.

Олег молчал почти минуту. И только потом Даша услы-

шала:

– И я тебя люблю. Хотя этого и не может быть.

– Почему?

– Слишком все похоже на сон.

– Может быть, любовь – это и есть сон? Когда людям не нужно ни о чем говорить и ничего объяснять, когда они могут просто чувствовать друг друга так, словно они – единое?

– Наверное.

– Ты боишься?

– Чего?

– Что придется просыпаться?

Олег промолчал. Даша вздохнула.

– А я – боюсь. Как я этого боюсь! – Даша задумалась, взгляд застыл в одной точке, она махнула рукой:

– К черту их всех! – наклонилась, подняла кружку с кофе, отхлебнула. – Совсем остыл. Теплый и горько-сладкий, как и мечталось.

Будешь?

– Обязательно.

– Извини, Олег. Мне уже совсем-совсем пора.

Он кивнул. Девушка соскочила с дивана, потянулась за халатом.

– Подожди, не одевайся, – попросил он.

– Я тебе нравлюсь?

– Ты изумительна.

– Ага. Только... Только не смотри на меня так.

– Как?

– Будто стараешься запомнить навсегда. Мы же не прощаемся, я не еду на целину, а ты – на север.

– Откуда ты знаешь про целину?

– Папа был. Да и песня: «Сиреневый туман над нами проплывает...» Я на секундочку под душ и сразу вернусь. Оставь мне капельку этого чудесного напитка, ладно? – Даша прыснула, наклонилась к нему, поцеловала. – И не грусти раньше грусти. Музыку послушай. – Она ткнула клавишу кассетника и исчезла в ванной.

А дождь шумел и шумел за окном ровно и монотонно, и этот размеренный шум сливался с наполнившей комнату музыкой и стихами:

Простите и сожгите этот бред.
В моей усталой комнате вокзальной,
В холодной раме, искренне печальный
Мерцающий сиреневый букет.
Из тлеющих по памяти углей,
Из полночи, щемящей и тревожной,
Из запахов волос, ресниц и кожи
Соткал художник трепетность ветвей.
А за стеной – сырая ночь плывет,
Струится влага сквозь ладони листьев,
И яблони спешат, подставив кисти,
Прервать дождинок гаснущий полет.
Твое лицо – за облаком примет
Из той далекой, искренней разлуки -

Пурпурные плащи, рабы и слуги...

Простите и сожгите этот бред.¹²

А дождь шумел и шумел за окнами длинно и монотонно, и Олегу казалось, что так было всегда и так всегда будет, что и море, и солнце не существуют уже нигде, кроме его усталого воображения, и что жизнь пройдет, не оставив по себе ничего, кроме запаха мокрых листьев, жасмина и первого, сладкого на вкус снега.

¹² Стихотворение Петра Катериничева из цикла «На тему Блока».

Глава 23

– Ну почему ты так себя не любишь? – Даша, уже совершенно одетая, стояла рядом с диваном.

– Не люблю?

– Конечно. Стоило на минутку тебя оставить, и ты совсем грустный, словно покинутый выросшим ребенком оловянный солдатик. Оставленный охранять никому не нужный и не важный уже пост. Ты как папа: «Воля в кулак, вперед и с песней!»

Кому нужны ваши подвиги? Тот мальчишка, что играл с тобой когда-то, давно вырос, он увлечен другой жизнью, а ты все стоишь на посту. Ведь это не важно уже. Очнись, Олег.

– Это не важно для бывшего ребенка. Но когда он был мал, и для него, и для его солдатика игра была самой настоящей войной.

– Ты сказал, что никогда не учился драться... А чему учился? Воевать?

– Ерунда. Каждый нормальный мужчина по жизни или воин, или тряпка.

– Знаешь, я где-то читала... «Игры, в которые играют люди» Эрика Берна.

Есть такая игра: «Старые солдаты не умирают». Человек живет так, словно виноват перед теми, кто погиб. И тоскует по юности, думая, что тоскует по войне. Ты ведь тоскуешь?

– Порой.

– По войне?

– Нет, по любви.

– Глупый, ну какой же ты глупый! Нельзя жить прошлым, это нечестно ни перед жизнью, ни перед любовью! Я даже не успела еще уйти! Ты видишь? Я – здесь! Живая! – Даша нахмурилась. – Глупо, конечно, но я уже ревную тебя ко всем прежним и негодную на них за то, что они посмели уйти и оставить тебя таким грустным. Совершенно глупо. – Даша присела на диван, обхватила его лицо ладонями. – Скажи, все сильные мужчины такие... беспомощные в этой жизни?

– Все. Сила – лишь обратная сторона слабости.

– Значит, и мой отец тоже. А я веду себя порой как... Вот только он все знает наперед, рассчитывает, а ты... Ты научился не планировать будущее.

– Скорее – не загадывать.

– И не вспоминать прошлое?

– А вот этому научиться невозможно.

– Странный ты. Вы, мужчины, вообще все странные. Думаете постоянно о чем-то, и для вас размышления становятся способом жить. А жизнь – проще и мудрее. Чувства в ней куда важнее мыслей. Может, я и вздор говорю... Ведь мысли – это бывшие чувства, чаще всего несостоявшиеся. Вот вы и мучите себя ими, и несчастливы. Не несчастны, нет, просто несчастливы... А еще... Ты похож на Маленького принца, оставленного по чьей-то высокой воле на этой земле.

Даша замолчала, глядя в одну точку, переживая что-то важное для нее. Потом вздохнула, улыбнулась:

– Что-то я разумничалась, – подняла с пола бутылку. – Я выпью, на посошок?

Мне пора идти. – Даша приложилась к бутылке, сделала несколько глотков. – Замечательное вино. Его делали люди, которые любят и жизнь, и солнце. Ну что ты опять смотришь грустным сенбернаром? Я приду завтра.

– Даша...

– И не говори ничего. Очень многие любят только себя, поэтому их никто не любит. А ты – словно нездешний. Ты любишь весь мир, какой бы он ни был, и с тобой мне кажется, что и я владею им, этим миром. Мне очень хорошо с тобой. – Даша улыбнулась мягко. – Я пойду? До завтра?

Олег улыбнулся, спросил:

– Кто ты, принцесса?

Даша помрачнела, вздохнула:

– Тебе обязательно хочется это знать?

– Я боюсь потерять тебя.

– Так не бывает.

– Бывает.

– Не бывает! И не спорь! И прекрати нагонять мрак и жуть, а то мне уже самой стало страшновато. Я только выгляжу бесшабашной, а на самом деле... И еще – терпеть не могу прощаний. – Даша наклонилась, чмокнула Олега в щеку.

Отстранилась, пристально поглядела на Олега, посерьез-

нела, сказала тихо:

– И теперь – боюсь я.

– Кого?

– Не «кого», а «чего».

– Тогда его?

– Ты узнаешь, кто я, и все закончится. И еще, я очень боюсь почувствовать твой... страх. Перед моим отцом.

– В детстве я боялся Бармалея, да и то не особенно. Потом – змей. Ну а сейчас... Я мало чего боюсь. И мало кого опасаясь.

– Нет, ты точно странный. Как странник в этой жизни.

– Сугубое воспитание, трудное детство, скользкие подоконники.

– Не балаболъ, Данилов. Я серьезно.

– Ну а если серьезно... Кризис среднего возраста. В такой момент и у добропорядочных людей странностей хоть отбавляй, а уж у таких, как я...

– "Кризис среднего возраста" – это по науке. А перевести на детский?

– Сил не впроворот, а приложить некуда.

– Почему?

– Страх.

– Чего?

– Пропустить жизнь. Снова, как в ранней юности, по-прешь бронированным монстром по тропочке, а она в болото приведет. А времени возвратиться и начать все сначала уже

нет. Как выразился некогда мой гениальный сосед: «Жизнь прошуршала по паркету чужой чернобуркой». И риторический вопрос «что делать» уже ничего не спасает.

– Осуши болото и шагай дальше!

– Золотые слова. Вот только мешает другой вопрос: «За чем?»

– Это серьезно.

– Еще как.

– Данилов, наверное, ты никогда не был по-настоящему счастлив. Так, чтобы даже не думать о том, почему ты счастлив и заслужил ли это счастье. А пусть-ка твой кризис пока перетопчется, а там – видно будет. Договорились?

– Ага.

– Мой папа...

– Твоего папу я скоро начну называть исключительно с заглавной буквы.

– Многие так и называют, – с вызовом ответила Даша. Добавила мягче:

– Ревнуешь? Это приятно. Хотя – зря. И ирония твоя сейчас – злая.

– Извини.

Дашино лицо сделалось замкнутым.

– А, ладно. Скажу. Только ты потом не мельтеши глазами, не канючь и не бормочи: «обознатушки-перепрятушки».

– Были прецеденты?

– Были. Если... Ну, если тебе что-то не покажется... -Да-

шино лицо помрачнело, словно закрылось тяжелой предгрозовой тучей. – Скажи сразу, и я уйду. Без прощаний. Хотя мне будет и жалко. Что ты не тот.

– Так кто у нас папа? Вячеслав Иванович? Джордж Буш? Саддам Хусейн?

– Я – Дарья Александровна Головина.

– Торжественно. А я – Олег Владимирович Данилов. Приятно познакомиться.

Осталось только подружиться.

– Ты что, не понял?

– А-а, извини. Красивое имя. Главное – редкое. Это комплимент.

– Не притворяйся, ты не настолько нездешний, чтобы не знать, кто такой Головин.

– Ему повезло. У него красивая и умная дочь. Даша совершенно растерялась:

– Ты что, правда не знаешь?

– Ну как же! Александр Петрович Головин, сэр, пэр и эсквайр. Владелец заводов, газет, пароходов, фракции в парламенте, телеканала, куска газовой трубы длиною в пол-Бельгии, нефтеперерабатывающего завода, крупнейшего в Европе комбината «Азотхим», какого-то там пароходства, какой-то там авиакомпании и прочая, прочая, прочая... Ничего не пропустил?

– Даже преувеличил.

– Так что, предлагаешь теперь обращаться к тебе Ваше

Высочество, Дарья Александровна Головина?

– Нет. – Даша сияла улыбкой.

– Вот и славно. Телефончик оставишь?

– Я запишу. – Даша вынула из сумочки ручку и написала на отрывном листочке из блокнота несколько цифр. – И, если ты не против, я папе про тебя расскажу.

Только не подумай, что навязываюсь, просто...

– ...ради приличия. Иначе узнает сам, другими путями, а это не вполне этично, так?

– Ну и это тоже... Я вас еще познакомлю! Обязательно.

– Это его мальчишки тебя вчера в парке в лимузин подобрали?

– Они. Я от них сбежала тем утром.

– Свободы захотелось?

– Скорее – жизни.

– Чуть не хлебнула. Большим таким половником. Даша вздохнула:

– Ну дура была!

– Извини.

– Это ты извини. Папа в отъезде был, а когда вернулся крепко их распек, вот они и вызверились. Я им устроила в машине! Тебе очень больно было?

– Да никак.

– Не ври. Бровь напухла, и шрам будет. – Даша улыбнулась. – Он тебя еще больше украсит.

– Погоди, Даша... Значит, у меня под хибарой дежурит

сейчас та бронированная арба на колесах? А во главе – «начальник тыла» с голосом поломанного механического рояля?

– А вот и нет! – Даша сияла. – Я от них снова сбежала! В университете, через окно!

– Да? – саркастически хмыкнул Данилов. – Мне трудно представить, чтобы Головин свою службу безопасности по каратешным залам набирал.

– В смысле?

– Скорее всего, тебя пасут, но втемную.

– Да нет же, Олег! Чтобы оборонить девушку от злых хулиганов, достаточно одного-двоих крепких ребят. От них-то я и сбежала.

– И сюда прикандыбала пешком?

– Что-то ты больно саркастичен. Я что, пешком прийти не могу?

– Можешь. С такими-то ногами!

– Вот. Но я пришла не пешком. Машину у сокурсницы одолжила.

– Ты за рулем?

– Ага.

– Ну-у-у... Зачем тогда вино принимала?

– Я же чуть-чуть. Это во-первых. И машину я вожу с одиннадцати лет, это во-вторых. И сейчас делаю это так, что ни одному каскадеру не снилось!

– Вот «как каскадеру» по мирным улицам гонять как раз

и не следует.

– Я фигурально. Нет, я правда классно вожу!

– Верю.

– И в-пятых, ни один гаишник ту бибику, на какой я при-
катила, не стопорнет.

– Номера уважаемые?

– Даже лучше: дипломато.

– Круто ездить не запретишь. А все же...

– Приятно.

– Что именно?

– Что ты обо мне беспокоишься. Ты ведь беспокоишься
обо мне, Данилов?

– Да.

– Даже не представляешь, до чего это здорово! Все. По-
шла. Мне не хочется выглядеть уж совсем легкомысленной.

– Я тебя провожу.

– До дверей авто? Это несовременно. Да и не люблю я
глупых прощаний. Лучше я тебя здесь поцелую. Мне нра-
вится твоя хибара. И твоя кошка. Даже если она не твоя. И
ты сам. Даже грустный. – Даша обвила его шею руками, при-
льнула, отстранилась. – Я свинюшка. Потому что ты выгля-
дишь очень усталым. И все равно скажу: мне никогда не бы-
ло так хорошо.

Даша сделала рукой «оревуар» и скрылась за дверью. Олег
подошел к окну.

Автомобиль, красный «эскорт», мигнул приветственно

фарами и сорвался с места.

За серым вечерним маревом дождя он показался Олегу миражом из чужой, нездешней жизни... И еще – неосознанная, невнятная тревога защемила душу тоской...

Автомобиль уже скрылся в арке, когда послышался резкий скрип тормозов и сразу следом – вечернюю тишину разорвал скрежещущий металлический звук.

Ни о чем не думая, Олег рванулся из дому, выскочил во двор и побежал вослед скрывшейся машине. «Эскорт», притертый вплотную к выщербленной стене арки, стоял с сиротливо распахнутой водительской дверцей. Даши не было.

Олег проскочил арку: по пустынной улице на огромной скорости удалялся автомобиль. Олег успел заметить задние габаритки, автомобиль свернул и скрылся из виду.

Данилов потерянно застыл под морозящим теплым дождем, ночь была уютной, наполненной запахами жасмина и свежей травы, и только под звучащую где-то мелодию будущая осень танцевала свой мягкий, нескончаемый вальс.

Неприметный человечек, наблюдавший за происшедшим с верхнего этажа стоявшей в глубине двора шестнадцатитажки, набрал номер, поднес сотовый к губам, дождался, когда на том конце сняли трубку, и проговорил внятно:

- Кошечка в капкане.
- Реакция журналиста?
- Скоро выясним.
- Патрона известили?

– Еще нет. Но известим.

– И поэмоциональнее. А то строит из себя стойка с оловянными глазами.

Известите так, чтобы отреагировал бурно.

– Отреагирует. Когда своя жизнь на кону, люди пьянеют.

– От чужой крови тоже. Человечек нажал отбой и посмотрел вниз.

Олег потерянно стоял посреди пустого двора, осыпaeмый переливающимися в фонарном свете дождевыми каплями, и казался повзрослевшим Маленьким принцем, чьей-то все-сильной волей оставленным жить на этой земле.

Глава 24

Олег стоял оглушенный, словно все бессонные ночи разом окутали его сырым темным мороком, словно все ночи будущие показались слепыми от беспросветной тьмы... Он замер, растерян и бестолково глядя на отливающий мокрый асфальт, и только одинокая стихотворная строчка крутилась в голове грустным напоминанием об иллюзиях жизни: «Любви, надежды, тихой славы не долго тешил нас обман...» Он тряхнул головой, дождевые капли разлетелись во все стороны.

Мир сделался простым и понятным: вот он стоит в ночном дворе, окруженный потухшими чужими окнами, и то, что вдруг сделалось самым осмысленным и дорогим в его жизни, пытаются уничтожить! Может быть, в чертежах мертвых схем и просчитанных категорий это и казалось кому-то возможным, но не в его мире!

Отчаяние – удел слабых. Любовь нельзя потерять, пока существует доблесть!

Капли скатывались по лицу, он ловил их губами и всем своим существом ощущал эту ночь, напоенную ароматами мокрой травы, дождя, жасмина. А когда занавеска на втором этаже одного из домов колыхнулась едва заметно, он почувствовал и это – тревожно, остро.

За тюлевой занавеской угадывался напряженный силуэт.

Ни о чем не думая, Данилов быстро вошел в подъезд, махом взлетел на этаж, сориентировался: одна из дверей открылась, из нее тенью выскользнул неказистый, средних лет, мужчина.

На Олега он глянул как на привидение, правая рука метнулась за отворот пиджака... Удар был сокрушителен: неказистый кувыркнулся назад, в прихожую, Олег заскочил следом и прикрыл за собой дверь. В полутьме он почувствовал еще чье-то присутствие, нырнул под летящую на него руку, коротко и жестко пробил в корпус, резко оттолкнул от себя разом ставшее вялым и громоздким тело. Крупный мужчина распластался спиной по стене и сполз вниз, сметая за собой вешалку с каким-то тряпьем. Данилов успел добавить здоровья в подбородок, и тот бесчувственно застыл на полу.

Данилов рывком подхватил под мышки оглушенного и ошарашенного худощавого, втащил в комнату. Из-за отворота пиджака вынул полимерный «смит-и-вессон», присвистнул удивленно, завел пленнику руки за спину, стянул выдернутым из брюк ремнем, усадил на стул. Огляделся: напротив окна стояли на штативах фотоаппарат и видеокамера, оснащенные приборами ночной съемки.

Повернулся к пленнику, резко, наотмашь хлестнул по лицу, приводя в чувство:

– Подъем! Говорить! Быстро! Внятно! Кто такие?!

Пленник набычился, процедил сквозь кроващиеся губы:

– Ты ответишь!

Олег побледнел от гнева:

– Да ну?

Движения его были неуловимо быстрыми: ладонью правой руки он зажал пленнику рот, а пальцами левой надавил на точку у шеи. Глаза у того побелели от боли, но когда Олег убрал руку, он не закричал: лишь силился вдохнуть.

– Ты все понял?

Худосочный кивнул беззвучно, словно взнузданный конник.

– Как тебя зовут?

Мужчина прохрипел что-то невнятное, Олег сделал вид, что хочет повторить болевой, тот энергично замотал головой, выдавил с сипением:

– Сергей Корнилов.

– У меня совсем нет времени, Сергей Корнилов. Поэтому отвечать внятно.

Дашу похитили?

– К-какую Д-дашу? Девчонку?

– Да.

– Скорее всего.

– Вы следили за ней?

– Н-нет. За тобой.

– Зачем?

– Велели.

– Кто?

Корнилов закрыл глаза, страх перед грядущей болью об-

метал лоб обильной холодной испариной, но пленник смолчал.

– Кто?! – повторил вопрос Олег, заглянув Корнилову в глаза.

Тот взгляда не выдержал, замельтешил, задергался, проговорил:

– Ты меня убьешь?

– Нет.

– Все равно, – прошептал он обреченно. – Тогда убьет... Гриф.

– И его ты боишься больше, чем меня? – Данилов смотрел на пленника, скривив губы в улыбке, но зрачки плавали в радужке глаз, словно кусочки замерзшей ртути.

– Нет, – прошептал пленный.

– Это правильно. Ты скажешь все, и у тебя появится шанс. Уйти, сбежать, скрыться от мести вашего мрачного орла-трупоеда. Но если соврешь, то шанса не останется вовсе. И игра у нас пойдет, как в жизни: второго шанса не дано никому и ни на что. Ты понял?

– Да.

– Я тебе не угрожаю. Просто вношу ясность.

Корнилов понуро кивнул.

– Кто такой Гриф?

– Он главный.

– Это его оперативный псевдоним?

– Нет. Фамилия.

- Полное имя?
- Сергей Оттович.
- Кто он?
- Говорю же, главный.
- Что он возглавляет?
- Я... я правда не знаю.
- Где числишься ты?
- Агентство безопасности «Контекст».
- Кто отдал непосредственный приказ похитить девушку?
- Я не знаю.
- Что за люди ее похитили?
- Да не знаю я!
- Кто отдал приказ следить за мной?
- Вагин. Сан Саныч. Его еще между своими называют Серый Йорик.
- А ты им не свой?

Корнилов пожал плечами:

- Вагин руководит «Контекстом». А я просто... работник.
- "Работники ножа и топора, романтики с большой дороги..." – негромко напел Данилов, о чем-то размышляя. – Ты романтик, герр Корнилофф?
- Нет, наверное. Скорее практик.
- Это Вагин сообщил, что приказ установить за мной наблюдение исходит от Грифа?
- Да.
- Зачем?

– Не знаю.

– А подумать?

– Гриф фигура у нас... вроде как легендарная. Наверное, чтобы мы отнеслись... ну... поответственнее, что ли. Ну и...

– Договаривай.

– И не боялись никого. Гриф этот – бывшая шишка сначала в КГБ, потом – в Службе безопасности. Крупная. Сейчас в отставке. Но Вагин намекал, что отставка его мнимая, а на самом деле Гриф – доверенное лицо... – Корнилов показал глазами на потолок.

– Господа Бога?

– Выше. И конкретнее.

– Ой-ой-ешеньки-е-ей! Как круто, а? От такой крутизны даже мутит с непривычки и без навыка. А ты, лишенец, взял и выболтал все первому встречному.

С чего бы это?

– Вы спрашиваете?

– Размышляю. Правильно: потому что жить хочешь. Как версия, сгодится?

– Я...

– Ты будешь жить. Если не передумаешь. Мужчина шмыгнул носом, стараясь подобрать тихонечко бегущую из носа струйку крови.

– Вижу, согласен. А что нос чуточку потек, так это не беда. Это чтоб ты службу соглядатая медом не считал.

– Дети у меня.

– Понимаю. А также жена, теща, тесть, борщ, кошка...

– Нет.

– Что – нет?

– Кошки нет.

– Заведи. Красивое животное. Да и что за дом без кошки?

Бестолочь, да и только. Когда выставили наблюдение?

– Вчера вечером.

– Оперативно. Хату «ушами» перекрыли?

– А как? Ты же... Вы же из дому – никуда. Только утром.

Мы не успели.

– И много надыбали?

– Что?

– Нарыли богато? О чем начальству доложились?

– Да ни о чем. Только о девчонке, что к вам приходила.

Ну и посыльному фотографии передали.

– Мои?

– Девчонки той.

– И – что?

– Приказ поступил: уши нараспашку, глаза навскидку, но сидеть – тише воды. А мы... запалились, – вздохнул Корнилов, печально глядя на Олега. Словно оправдываясь, добавил:

– Я дернулся, хотелось хоть одним глазком на объектив тех, кто девчонку выдернул, взять. Тут вы нас и «срисовали».

– Так это не ваши?

– Вроде нет. У нас я таких не видел. А так – мало ли.

– Одеты как? Выглядят?

– Да как все: куртки, джинсы. Стрижки короткие, но не очень.

– Сто из ста.

– Угу.

– А на «объектив взять» – получилось?

– Нет.

– Почему?

– Так в арке ее ждали, девчонку. Очень складно у них все вышло.

– Четыре сбоку – ваших нет.

– Чего?

– Присказка такая. А сказка... Сказка впереди. А хочешь, лишенец, я тебе омрачу радость будущей встречи с семьей и мирного сосуществования с собакой, кошкой и тещей?

– Вы же обещали...

– ...оставить в живых. Без вопросов. Но подпортить праздник жизни ожиданием смерти – это, дорогой товарищ Корнилов, я тебе нарисую. Чтобы ты холодным потом обливался даже в горячей ванне!

– Виноват...

– Угу. Как поет муж бабушки, но не дедушка: «Виноват я, виноват, без суда и следствия...» Знаешь, как барышню звали?

– Какую?

– Ту, что умыкнули у тебя из-под объектива! Ту, на кого

ты наводку кому-то дал! Сказать?!

– Да нам оно ни к чему. Наше дело...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.